Ранние журавли
Повести

—

Чингиз Айтматов



ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ

Ранние журавли
Чингиз Торекулович Айтматов

Аннотация
Чингиз Айтматов. Ранние журавли. Повести
Ранние журавли
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Прощай, Гульсары!
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Джамиля
Первый учитель

Аннотация

Чингиз Айтматов (1928—2008) – советский киргизский писатель, поднимающий в своих произведениях общечеловеческие и философско-нравственные проблемы.

В книгу вошли его повести о любви, взрослении в трудные военные годы и налаживании жизни после войны («Джамиля», «Ранние журавли», «Первый учитель»), а также философская притча «Прощай, Гульсары!».

Чингиз Айтматов
Ранние журавли
Повести

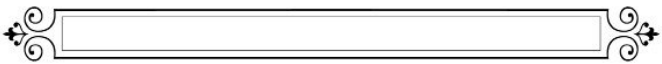
Оформление серии С. Костецкого

В оформлении переплета использована фотография:
Wirestock Creators / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Ранние журавли



Сыну Аскару

Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел…

Киргизская народная песня

И приходит к Иову вестник и говорит:
«А отроков сразили острием меча…»

Книга «Иова»

Вновь и вновь пахари пашут поле,
Вновь и вновь бросают зерно в землю,
Вновь и вновь дожди посылает небо…

……

С надеждой люди пашут поле,
С надеждой люди семена сеют,
С надеждой люди уходят в море…

«Тхерагатха» 527–536.
Из памятников древнеиндийской литературы

1

Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь — чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы (фрукты какие-то), и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды, и невиданные растения. Но самое завидное — жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй: ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись в три погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе как ходится, грейся на солнце, а нет — прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест — ну тогда птицеверблюдов[1]

---

[1] Примечания: 1

Птицеверблюды (страусы) — тюякуш (*тюркск.*).

гоняй, птицеверблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что — попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из аильных сам видел на джамбулском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки…

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят… Вот и война оттого… Сколько уже людей в аиле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя…

Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любуется в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупою. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах наросла наледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверно, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересадила его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь».

А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль, ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если б ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми как со всеми, а подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат + Мырзагуль = эки ашык»[2]. А так сидели бы рядышком — и ничего не скажешь…

За окном несло. Сыплет снег, сыплет… В ясный день глянешь из класса, горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел тот кизяк. А теперь при-

---

[2] Примечания: 2

Эки ашык — двое влюбленных.

везут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой, и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы. Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон! «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы… Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету, усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновой спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда, посчастливилось…

До войны, как раз за год до войны, произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай,

в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакеч, а золотой — за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться…

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами

вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покатил в Джамбул». Туда и обратно — два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка, как поезд по рельсам, идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверно, и поручали ему самые ответственные поездки.

Так вот, в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как отгадал отец, что ему в город давно хотелось! Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно. Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как

ишак. Когда отец дома, к нему не пробьешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай

бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо?

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпускал. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата, атаке, ата, атаке…[3]

---

[3] Примечания: 3
Ата, атаке — папа, папочка.

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегает вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться…

А тот ни в какую…

Султанмурат почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или, вернее, придумалось же такое в природе…

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь…

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его

с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а почему меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неуемной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настрого не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был так прилежен, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка переарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай, умыл, когда та упала в грязь, и еще, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, прыснула со смеху,

качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье-то! Как бы не сглазить! А может, не отпускать тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились, у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другого девочки. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он уже будет в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджике, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну, — черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонок. Я его кормлю, пою, один раз он даже в школу прибегал. Стоял под окном, ждал, когда я

выйду на переменку, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается…

— И некому тебе помочь объездить его как следует? — посетовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике, — с готовностью отозвался Султанмурат. — Обязательно сам объезжу…

— Ура-а! — сорвался с места младший. — Пошли!

— Ну-ка сядь на место! — осадила его мать. — Сядь, не суетись. Попьете чай как люди, потом успеете.

Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступить к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою.

Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или: «Султаке, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить…»

Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только то-

гда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрызения совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все что угодно.

После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться в сторону. Знал уже, ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султанмурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, вспрыгивал на ходу, ложась животом на хребтину Черногривого, вторым приемом оказывался верхом на осле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять

попытка…

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади и тем более с верблюда дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный седок падает мешком, не успевает даже сообразить…

Султанмурат это знал по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать «джигитовки», как осоавиахимовцы. На бегу спрыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осоавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же аильные джигиты занимались после работы.

Лозу рубили вскачь. На бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осоавиахимовцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах? Конница, говорят, уже не применяется на войне…

И, глянув во двор за окном, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

…То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую…

— А теперь садись, — позвал Султанмурат брата, — езжай, все в порядке!

Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай[4], как тут было не похвастаться!

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. Аджимурат верхом на Черногривом въехал во двор показать-

---

[4] Примечания: 4
Агай — старший брат.

ся матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и того взял, вдвоем бы им веселее было, — говорил отец, — да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под бочкой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать. — Не приведи бог, и не думай, не надо, — зашептала она. — В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гляди в оба. Думаешь, большой, куда там…

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром им отправляться с отцом в путь-дорогу…

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крылами. А он лишь

распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве… То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженые, тоже привезенные отцом с канала.

— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.

— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда,

растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громыхая, пошла по воде через большой каменистый арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклевывалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине брякнули спросонья на колесный перестук…

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдали лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцой, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо

знакома, в который-то раз проделывали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку…

Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в щелке между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком; свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаряли жизнью все на земле…

Хорошо, отрадно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он

ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольно уши прижали, коснулись друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подраться решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громыхающая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади, дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем, легкие белые облака, кочующие высоко над головой; еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые; арыки и ручьи,

разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же заученную трель неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат. Птички эти — сарайгыры[5], а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!» Чудные птахи сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический

[5] Примечания: 5
Сарайгыр — сары — соловая масть, айгыр — жеребец.

ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

— Это сарайгыр, — объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»?

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу, верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет, и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха…

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами, и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все высвистывали: «Чу, чу, сарайгыр!» — а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрей, быстрей в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр! — Это он относил к Чабдару. — Чу, чу, торайгыр! — Это он относил к Чонтору.

А отец приунял его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя, да вдосталь, да за упряжью следи — никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах. Брички с грузом увязали по самые ступи-

цы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну прибегут — выручай. Просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог, чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали: повезло, говорят, тебе, Бекбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

— Ата, а который старше? — спросил отца Султанмурат. — Чабдар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечаю я, Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норова не вредного, красив, силен.

— А мне Чабдар больше нравится, — сказал он отцу. — Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный, — усмехнулся отец. — Не любит, когда ему докучают без дела. — И, помолчав, добавил: — Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши, — повторил он, погоняя коней.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку. — И посвистел спокойно, выжидательно. — Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле, оба мерина начали мочиться на дорогу шумными, пенистыми струями, а плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал.

Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбулском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

2

В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бекбай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и прикладывая руку к груди. «Вежливый народ! — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, — всегда уважит…»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слон, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было…

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли

люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя, не дай бог, сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет…

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и

«жаман»[6] схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках…

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее отец и брат на фронте… А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкамал-апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения.

---

[6] Примечания: 6
Жаман — оценка «плохо».

3

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату — пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как всамделишный наган. А девочкам — какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей…

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоянный

на запахах летних трав. Лягушки затурчали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном. И, перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать, как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыхивала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал, — бормотал он, прижимая его к груди.

Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал:

— Ты спи, а я выпрягу лошадей попастись.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо

спалось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы…

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стоит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба…

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он

приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спросонья, поплотней прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке…

Часто потом вспоминался ему звездный сон…

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах… Наверно, все перепелки на свете счастливые.

4

— Султанмурат, что с тобой? — Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего. — Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса, — недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко передергивая плечами. — Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Тыналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался.

А до войны агрономом был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь…

Захватив большую охапку соломы, Султанмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашушукались, оживились.

— Тише, не отвлекайтесь! — потребовала Инкамал-апай. — А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печке, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевай только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристает. Дулю бы ему показать. На, мол, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир,

артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подоткнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось при виде слез на ее глазах.

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет, — говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в

следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит завороженный…

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит… И, наверное потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай перехваченным голосом.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай, — успокоил ее сразу Тыналиев. — Я пришел

по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аиле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое, — начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время силясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокость. — Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили

с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и снаряд. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть, довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом… К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать

и засеять двести гектаров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двухлемешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам…

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку…

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок…

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно

сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе…

Вот так говорил председатель Тыналиев…

А за окном все вьюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра запуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распущенный хвост. Холодно было коню…

Да, тут тебе не Цейлон…

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, — объяснил Тыналиев. — Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может, и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина…

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу, — Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой

в классе…

Ребята зашумели:

— У нас Анатай самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султанмурат, — снова обратился к нему председатель. — Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да, — ответил Султанмурат и встал с места. — Пахал на Аральской улице.

— На двухлемешном, четырехконном?

— Да, на двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал, — сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай.

— И я, — вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздались голоса.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой? — опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень, — проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо, — вставила все это время молчавшая Инкамал-апай. — Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а, — задумчиво протянул председатель. — А я-то рассчитывал... Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же, — ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше, — усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал: — Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю, — сказал Тыналиев, — но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного? — улыбнулся Тыналиев. — Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже, поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета?

Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно, — объяснил Тыналиев. — Это такой купол над головой, он распускается, как юрта…

— Знаем, знаем, — хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант? — снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчание.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей, — объяснил Тыналиев. — Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

— И мой!

— И мой тоже!

— И мой!

— И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно, и больше, оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было выскакивать

некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню…

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргеша и Кубаткула. И сказал, чтобы завтра с утра все названные им были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома, уже поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб, — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

— Уроки учил?

— Да, выучил, — ответил Аджимурат.

— Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что Султанмурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инкамал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть

женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война кончится — снова можно пойти в школу…

С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тыналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим, рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весновспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что уставились! — заворчал старый Че-

киш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров[7] на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошади семижильные — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглянутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взъерошенные, на худющих ногах, толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как уверенно и прочно бежали в упряжи справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к

---

[7] Примечания: 7

Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

председателю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским коням Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карего. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года…

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногому молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца

подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй, вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устаке[8] вас зовет к себе!

Ребята прибегали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый воронено-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, подержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге

---

[8] Примечания: 8
Устаке (уста) — мастер.

— лемех! Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка…

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам как умел подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью…

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там не поливные, и лежат они все больше по пригоркам… Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксая пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется», — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев, на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский…

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиралась. И потому на день лошадей выводили на солнцепек, к наружным акурам[9].

---

[9] Примечания: 9

Акур — глинобитные кормушки для стойловых лошадей.

На солнцепеке лошади лучше едят и быстрей входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без сшибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Что тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать… А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка прекратите шум! — приказал он. — Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает? — перебил Эргеш.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята, — продолжал председатель. — Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи,

как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все, — говорил он. — За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас,

сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним — как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, пятнадцать шло уже годов. Но за ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он братца, хотя тот, случалось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мырзагуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью…

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцати лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октору — гнедая стрела! Отец Анатая тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу луноликую

— Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы…

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеком, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулюк, что означало скакун в белых носках!

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеком. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтынтуяк — золотое копыто!

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеком, в той большой войне погиб смертью геройской в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А

за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай…

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому…

5

И приближались те дни…

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский норов, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коня: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне.

Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь пили лошади под призором плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбегала отсюда из-подо льда по каменистой отмели и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст…

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распустив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шу-

мели.

Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работящих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей отплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу. Взыскательным, колючим взором осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда, наконец, попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Аксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевали вовремя подвезти клеверное сено, особо сберегаемое

для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слыхали, мало того что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи… И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепадало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спохватишься, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет…» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделать Султанмурат, да и любой на его месте. У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь, и снова корми, пои, чисти, навоз выноси, и снова сначала… А какой это труд промывать и лечить лишаи старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие

растворы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность…

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что появись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось

поразмяться, порезвиться. Припустили поводья, быстрей и быстрей. Так и подмывало понестись галопом, Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрей, что так тихо!

Но Султанмурат как командир не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голоса. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников и кричат, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькнувшему в полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то крича и размахивая сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-ат!» И то, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалось в память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни… И

от радости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, закружила…

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, загигикал, прилег к гриве, настигать стал Анатая. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удальство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатая, как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспых-

нувшим состязанием, и видел, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатая, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатая позади не было. С трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатая и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная была она и все равно самая красивая… Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все

вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасоваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И только приближаясь к аилу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окликнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед, — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили. Сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать перегонки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, раскрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел

наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты!»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошли. Однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе считал себя невиноватым.

— Баба ты! — обзывал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь? Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди! На то ты командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шуточное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрянул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора — пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился. И пошел к ним, грозный и взъерошенный:

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удушья и, все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую!

А на чем теперь пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять...

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну по-

думай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили…

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропадало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и другие знающие люди сказали, — что повреждение не опасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользовать лошадей. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось

ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десяток овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста-курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сена накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить — вся жизнь была устроена при отце по-иному — надежно, разумно,

красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках…

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало… Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раз-

дался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя наш Нургазы приехал, — сказала она сыну, — иди, встреть. — А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери дядя Нургазы жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать что к чему да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндевевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих

твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Холода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил… Горячей шурпы[10] с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси, что там есть, в дом, а курджун освободи… Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.

— Как тебе не стыдно! Слезь! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам поз-

---

[10] Примечания: 10
Шурпа — мясной суп.

волял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайаке[11], я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. — Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца как ни слуху…

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал

---

[11] Примечания: 11
Тайаке — дядя по матери.

разные случаи, когда человека считали уже не в живых, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война…

В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, —

похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал Султанмурат. — Совсем доходяги. В лишаях. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите, какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман…

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши…

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно…

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что

писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама убедится — письма пойдут одно за другим… Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжко и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется

все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверное, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с

рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел…

И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему…

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству

было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу…

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вязались. Прежде всего, хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней.

Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, — как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня…

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали взлаивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашыктык кат»[12], написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел…

---

[12] Примечания: 12
Ашыктык кат — любовное письмо.

6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат, по праву младшего, устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далеко было то место, в балке Туюк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурлившихся ливневых потоков и грозовых раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостеблистых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустым не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный раз-

ными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считаные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, от того, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пущу, говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких вестей. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Побледнел даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи, это вы напрасно. И в расчет не возьму ваши слова, хотя в душе понимаю. Это, мол, фронтовое зада-

ние такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому, того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что́ бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в ту атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко и председателя Тыналиева, его тоже надо понять; не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрей выходить на работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорей берись за дела…

Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла…

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Безмятежное согласие сил. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг. Кое-где темнели широкие рваные прогалины

среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдали. Какая большая земля лежала вокруг, и как много забот было на ней человеку!

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет… Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине…

Но день был чудесный. Аджимурат — тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, оттого, что брат рядом и собака преданно бегает возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо домой. Сам же на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

Бер команда, маршалдар
(Дайте команду, маршалы),
Калбай тегиз чыгабыз
(Все как один выступим).
Мин-миллион жоо келсе да
(Пусть идет тысяча миллионов врагов),

Баарын тегиз жагабыз

(Всех до единого уничтожим).

Эх, глупыш! Дитя несмышленое…

Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:

Бир-эки, да, бир-эки

(Раз и два, раз и два),

Катаранды тюздеп бас

(Держи ровнее строй) …

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого храбреца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли невольно. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы уже повеяло весной. Тишина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвеянное охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая

что-то по гумну, и вспугнул диких голубей. Они выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной стремительной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким полетом, переливающимся перламутровым блеском перьев на солнце и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя по математике, ушедшего в армию:

Я сизый голубь, летящий в синем небе,

А ты голубка, летящая крыло в крыло.

Нет счастья большего на белом свете,

Чем неразлучно вместе быть с любимой...

Захмелел учитель у бозокера[13], когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь, летящий в синем небе, а она — голубка, летящая

---

[13] Примечания: 13
Бозокер — человек, изготовляющий хмельной напиток бузу.

крыло в крыло… Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провожая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. Пронзительно его ударила эта песенка учителя математики. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь, а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептер» тоже должны быть включены в письмо… Все дело теперь заключалось в том, как вручить ей письмо. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая… Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, неодолимо важно было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти. Недолго думая, принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили попастись по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно чего и кого. Братья работали споро. Серпами сжинали сухостой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблистый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжинаешь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпающими снег. И снова остро пахнет горькой пыльцой, как будто летом, как будто в августе.

Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее…

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно и дико залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными, торчком, ушами и дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих пресле-

дователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки, как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаки, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убегать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица почти не торопясь приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как здорово повела его лиса по

глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, завороженные подбегающим чудом — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю, как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел подивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднятым пушистым хвостом, с белесым подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом… Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да! — вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош взлаивал то там, то тут.

— Эх ты, — сказал потом Аджимурат. — Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе? — пробормотал он.

— Как зачем? — И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного покосить, чтобы сделать полные вязанки. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем, говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гоняясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать действительно такую красивую лисицу, и представил себе отца в пушистом теплом малахае, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Сулманмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой? — подошел к нему Сул-

танмурат.

— Ничего, — ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием…

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике, — сказал он, присаживаясь возле. — Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело? — сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности. Аджимурат начал приставать:

— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат покрылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать одно письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо? — живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал, запинаясь:

— Письмо надо… это… передать Мырзагуль.

— Какой Мырзагуль? Та, что в вашем классе?

— Да.

— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.

— А ты что кричишь? — рассердился старший.

— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей[14], да?

— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.

— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.

— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!

— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь…

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился сразу и заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще ответишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться… А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу

---

[14] Примечания: 14
Айчурек и Семетей — герои из эпоса «Манас».

драться… На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди…

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся…

Когда собрали весь скошенный курай и когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султанмурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобней. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой Черногривого, а одну дополнительную вязанку Султанмурат решил

взять на себя. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал вполовину первого перехода, третий вполовину второго и так далее. Султанмурат хорошо знал это, потому, рассчитывая силы, шел

размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь.

Шел он и думал, как завтра с утра выйдет на работу на конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считаные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да и обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет как и что, всего не предусмотришь. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продыху нет. Все сама да сама. Топи, вари, стирай. Девчушки еще малы, а с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить… А их всего пять упряжек. А остальное тягло и

плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от аила. В случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают…

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал…

Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккептер». Пытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?.. Тогда как?..

Балка Туюк-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей — умиротворенность, услада,

затишье, чтобы все это в миг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу, на вторую и затем с заклинанием «о, пирим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжкого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстрей ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом,

улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерии.

7

И приближались те дни…

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти, и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставал брата уже давно спящим. А хотелось выспросить еще какие-то подробности.

Но выспрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит, почему не скажет об этом прямо? Почему молчит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только…

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду…

Ответ вернулся односложный…

«Знаю», — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побе-

жать в школу, дождаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу…

Да и работу не бросишь. Работы невпроворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра и до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез, как дым. Заново открывшаяся речка весело бежала, кувыркалась по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки…

Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, об-

мер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их. Девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать, полететь за ней — за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара…

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встре-

тить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто…

Теперь он решил дождаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь, — сказал он вызывающе.

Ох и противный тип!

Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукнули коней навстречу друг другу и, тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись. Вода закипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите!

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул

назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына: «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать… Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется…

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подругами. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на

улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждут, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один…

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай, и пусть

все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водопоя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадях на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед

десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи свою готовность!

— Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Тыналиев подозвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка обнаружьте неполадку в сбруе, — предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен. Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет

простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат, — наставлял председатель Тыналиев, — ты как командир десанта обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой!

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок

погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроенным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому…

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставляя их уму-разуму… Вот так…

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидеться с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела

поважнее…

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело. Расстроенный, поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось? Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее, Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат припустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не упади! — крикнул он ей, хотя упасть с таких широких, выложенных поверху

дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не упади! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чудак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа…

Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила, и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно

мгновение.

— А я думал, ты заболела, — сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, а сказала другое:

— Вот. — Она достала предназначенный ему сверточек. — Это тебе! — И, не задерживаясь, пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист, платочек был ярко расшит по краям узорами, цветочками, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: «S. g. M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль» — «Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть

так счастлив, как он. И, однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек…

Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого…

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил, это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Спервa погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали! — И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята. Заметались. Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай! Отдай!» — только одно твердил Султанмурат, понимая, что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне

Султанмурата была справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

— Стой!

— Остановись!

— Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо!

— Да на! На! — заторопился Анатай, пытаясь обратить все в шутку. — Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак! — И он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из

разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя…

8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Аксай. Земли удобной много. Паши сколько сможешь. Загоны определили. Степь задышала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята? — обратился к ним Тыналиев. — Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спо-

хватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеварe, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле…

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами — солнце то выглянет, то спрячется, земля парила, пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей…

И приближались те дни… И все шло к тому…

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были

совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты… Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков… А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны…

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через речку… Каждый раз надеялся — и не удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать встречи

с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские…

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье. Накануне выезда на Аксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дождаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Постойте. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И дорогой на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался

бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках…

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из нас большая беда — отец Анатая, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние, если плакать, то плачьте громко, по-мужски,

чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил…

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны, никогда и никто его не увидит… «А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приближались ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ…

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается их близкими лишь тогда, когда они его лишаются… Так было всегда и так будет…

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умаляет человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатай оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще больше, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его,

помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды…

Жалко, что не было у него автомата!

И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатай. Что ж делать. Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче…

Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдавить из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбередили, и он стал задыхаться от

нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться…

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может, тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже

в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью…

…Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч,

Я сизый голубь, летящий в синем небе,

А ты голубка, летящая крыло в крыло…

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рождениях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу, — Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная, юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд

перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч…

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как вызволить его из этого горестного безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор, — сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли в угол.

— Ты не думай, Анатай, — начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. — Ведь я это самое… Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо, — ответил он. — Это твое, и ты его никому не отдавай. А я… Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, Султан. Мне уже ничего не надо… Мой отец, он был… Мы так ждали… — И, захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли…

9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день не умолкая понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходили три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в аиле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до ве-

чера, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Султанмурат беспокоился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним…

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал, дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать-сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справ-

ное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.

Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят…

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается… Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым шагах в двухстах — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни.

Три плугаря, и великие горы впереди. Три плугаря, и великая степь позади.

Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в

аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землею, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям…

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того, чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам, как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за

четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног… А на рассвете снова за дело… Самое трудное встать на рассвете…

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять-двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья… Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати…

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки,

размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги — то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине…

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, сно-

ва протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты[15], подружней налегайте. Ведь не каждый день будет

---

[15] Примечания: 15

Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

так тяжко. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжко, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город… Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда

оплакивали анатаевского отца, больше всех и больнее всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают… Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при

мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет, и мне неинтересно будет жить…

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног… И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидущий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардеп, слово-то какое, — говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей.

Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила, мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил… Совсем выбились из сил…»

Лошади остановились, изнемогли… Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.

А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли

сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» — ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота…

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

10

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи…

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший

овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из

всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле…

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек…

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд…

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот прибудут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем

десантом навалятся, пойдет дело, пойдет…

Погоняя упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо, не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгу![16] Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!

Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издалека поглядывал в их

---

[16] Примечания: 16
Ширалга — часть добычи.

сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом; беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрав голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую нежданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней… Прямо к ней с журавлиным пером…

11

Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные… Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их… Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть, — сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пулей не шутят, не целься зря, — ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высовывайся, тебе говорят, — приказал

ему тот, что держал коней. — Набегаются — уйдут. Тебе-то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются! И чего, спрашивается? Бегут и смеются…

Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту… Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах…

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать — завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не

расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой можары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в можаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогревать сил не хватило.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны можары.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина,

непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умостился на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу[17] потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать. У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей… Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы… Потом он во сто раз больше отработал бы…

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно

---

[17] Примечания: 17

Суюнчу — подарок за радостную весть.

понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет…

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его…

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодющий пот прошиб, и тело

стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили. А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступали с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что? Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с

места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки…

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатая потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу…

12

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись…

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло… Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрей бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уж ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только

хрен им ишачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель…

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два

справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать…

13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрей! А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрей, быстрей, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрей, быстрей! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед… Не упади, Чабдар, не упади…

14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохлаждаться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрада-

ми, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убью! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.

И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксая и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него…

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку,

колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать…

Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Сто-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрей и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки…

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах…

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала

земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло…

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему… Сокрушались мечты. Оттого и плакал он…

15

Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебился зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксая в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей… То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со

стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

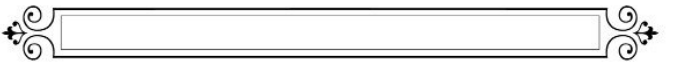
Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом…

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь…

С. Байтик. Май 1975 г.

Прощай, Гульсары!



1

На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым…

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быком, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

— Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет?

От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки, и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаешься других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.

Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.

Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая

беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет…

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть[18], последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?

Глухо и затяжно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мок-

---

[18] Примечания: 18
Гульсары — желтый цветок, лютик.

рому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать. Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью — большой гривастой кобылой.

Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня — конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца — молодец и вброд пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Колеса стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать — большая гривастая кобыла — превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир — солнце, земля, мать — умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще…

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны

перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились,

как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели — она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосягаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери — большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуро подошел к коню.

— Эх, будь ты неладен! — тихо выругался он, глядя на иноходца.

Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый,

золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

— Вроде бы я не гнал, — пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге — собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клок сена:

— На, бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали — горы, окрест — голая степь, и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь — редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая захолодело внутри.

Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало средь облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше, — сокрушался Танабай. — А теперь ни туда ни сюда, стой средь чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел

назад к телеге.

«Зря я выехал», — опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! — оправдывался он перед собой. — Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить? Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала

меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

— Это ты не тронь! — продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. — Это ты не тронь! — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать было нечего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать, — не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, — казалось, одеревенел, умер.

— Ты что? — Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. — Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? — Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, ис-

секлась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», — с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

— Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

— Это какого же? — насторожился Танабай. — Опять клячу какую-нибудь?

— Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», — сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня

с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

— Танабай, неужели тот Гульсары? — удивилась она.

— Он, он самый, что ж тут такого… — пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

— Ну, что стоишь, согрей мне поесть. Голодный я, как собака.

— Да вот смотрю и думаю, — ответила она, — что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

— Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.

— Вот и я ж об этом. — Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: — Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

— Куда там, — неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла

она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

— Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И, казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духу кинуть коня среди дороги.

— Что ж, Гульсары, так и будем стоять? — Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами. — А ну, постой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко накрошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему

в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

— Ешь, ешь, может, и дотянем, а? — Танабай повеселел. — Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со старухой выходим тебя, — приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

— А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! — приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега заскрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли — старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб, — думал Танабай про коня, шагая по обочине. — Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй что больше…»

2

Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе, и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, Бог миловал, один раз контузило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей — шофер. Посадит всех в кузов — и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой…

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях

эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, — потому что все прошлое как бы отдано было в залог, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что

такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха! — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладится, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание…

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

— А я боялся, что ты прирос к молоту, не ото-

рвешь, — говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

— Понимаешь, был я третьего дня в горах, — рассказывал Чоро. — Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают браться за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам немного уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к

чему разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

— Хорошо, Чоро, попробую, поговорю с женой, — отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись.

Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

— Постой, Танабай. — Он подъехал к нему на

коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо. — Ты, случаем, не обижаешься? — спросил негромко. — Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнить. И люди уже не те, жить хотят лучше…

Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно…

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгоя буланого жеребчика-полуторалетку.

— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылил.

— Какой есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.

— Да я так, отец, к слову, — примирительно промолвил Танабай.

— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

— Это который — вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

— Поздныш он. Выправится — ладный будет.

— А что в нем? Чем он хорош?

— Иноходец от роду.

— Ну и что?

— Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

— А ну глянем! — предложил Танабай.

Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы

вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

— А ты как думал, — задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. — Он на голос чуткий, смотри, как подпадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!

Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

— Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе веселей стало.

— Хорош, — согласился старичок. — Только ты смотри, — вдруг посуровел он, скребя в затылке. — Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку,

охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаз радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.

— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

— Вот то-то. А кличка его — Гульсары. Запомни.

— Гульсары?

— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичок Торгой. Всю ночь наказы давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгоя и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один.

На прощанье Торгой снова напомнил:

— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри, осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задергаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да

смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не умру…

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками…

Если бы знал Гульсары, сколько разговора шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индевея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо.

Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, навострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост, залеплял глаза. Неспокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоняя жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнул-

ся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с края табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хотя бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шарахнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшиеся с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади

услышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раздался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот неумолкавший голос, он вел их за собой. Хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху, таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями…

Сошли глубокие снега, открылась, зазеленела земля, и Гульсары быстро набирал тело. Табун полинял, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек.

Помнил стужу, помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закоченевшие руки и ноги, помнил весенний гололед, свинцовой коростой сковавший землю, помнил, как гибли тогда слабые в табуне, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя:

— Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сараи для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передушил этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

— Ну, ты, ты прости меня, я погорячился, — запинаясь, выдавил он из себя.

— Это ты должен простить меня, — сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

— Выдай ему пять кило муки.

— А как же ясли?

— Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! — резко приказал Чоро.

Танабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

— Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

— А ты остуди, не маленький, — спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил…

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоняя молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоняя драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся,

корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, — страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось разок-другой стегануть буланого по крупу укру-

ком[19]. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шагу. И чем сильней он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни — разные были среди них; веселые и печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табуном, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укруком ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он

---

[19] Примечания: 19

Укрук — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

был вольный. И вдруг волосяная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним — второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная, пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись,

петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнали мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шепотом приговаривал:

— Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

— Уздечку.

Тот сунул уздечку.

— Стой, Гульсары, стой, умница, — приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накинул ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гуль-

сары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

— Накрутку! — крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил на губу накрутку из ремня и стал накручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, немыслимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились ему в бока. Иноходец вскинулся на дыбы, заржал негодующе и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан,

на другом верховом коне, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не размыкался, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились разбредшиеся вдали лошади, кружились горы, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседлывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смирно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие

углы рта были раздерганы. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом взошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смирно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный,

опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

— Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе. Откуда было Гульсары знать,

что именно говорил человек? А Танабай говорил:

— Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде. Ах, какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали.

— Поставь на него ведро с водой — и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабаю:

— Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь,

как поднимется звезда твоего иноходца!

3

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп…

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его за узду:

— Пошли, Гульсары, пошли, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

— Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп.

— Ну, ты прости меня, — проговорил Танабай. — Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы дове-

сти тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

— Вот и все, — сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи, как призрак. — Боже, во что ты превратился, Гульсары? — прошептал Танабай. — Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле…

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболеет или помрет. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все

о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, ожило в нем. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или, вернее, не позволял себе думать, а теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

— Иди впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, — сказал он. — Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они

снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идет, Гульсары!» — и с завистью думал о том счастливце, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Скольких председателей колхоза пережил Гульсары, разные бывали — умные и самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспоминают ли порой про Гульсары, который носил их с утра и до вечера?» — думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились.

Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на

землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

— Вставай, вставай! — закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: — Ты что, не понимаешь? Подыхать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! — Он тянул коня за гриву.

Гульсары с трудом выпрямил ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня, долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть — свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрей добраться домой. Правда, ночью немудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдали засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали

быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна», — подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.

Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они превратились в белые бесплотные контуры.

— Чудно, чего он здесь среди ночи? — сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке.

— Это он, это его телега там, — пояснил шофер и остановил машину. — Ты чего, старик? — крикнул он, высунувшись из кабины. — Это ты бросил телегу?

— Да, я, — ответил Танабай.

— То-то. Глядим, бричонка развалящая на до-

роге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

— А что случилось? — спросил он, обернувшись.

— Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

— М-м. Ну и куда же теперь?

— Домой. В Сарыгоускую щель.

— Тю-у, — присвистнул шофер. — В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

— Спасибо. Я с конем.

— Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг — и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?

— Поезжай, — мрачно процедил Танабай.

— Ну, как знаешь, — усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: — Ополоумел старик!

Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

— Зачем смеешься над человеком, а если бы

тебе так пришлось? — сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

— Ерунда… — Шофер, зевая, крутанул баранку. — Мне приходилось всяко. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

— Зверюга ты! — сказал парень.

— Плевал я на все, — ответил тот.

Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал иноходца:

— Ну, пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.

4

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива

со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

— Эй, табунщик! Остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

— Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:

— Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

— Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

— Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

— Ах, вот как! — И снова принимались тормошить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом,

так ни разу и не проехалась на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.

— Ну-ну, потише, куда так! — шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть с сердца хозяина, как теплел голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе: и как же это получается, и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем — отдали сверх плана хлеб и скот за

других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать — неизвестно. Время шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе — хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять, и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

— Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас, — говорил Танабай. — Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

— Что не так? Что неправильно? — Бухгалтер совал ему бумаги. — Вот смотри планы… Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты комму-

нист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем, — были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давние счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай — старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются единоутробными. Значит, и на родство он

посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

— Ну что ты сидишь, Танабай, очнись, — возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет — значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть — посевная, окот, прополки, а там сенокос… А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается,

было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват…

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подобреет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теребить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни

у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он, и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам…

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

— Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан, —

говорил ей Танабай. — А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

— Он-то любит, — думая о чем-то своем, отвечала она.

— Хочешь сказать, что другие не любят?

— Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.

— Это почему же?

— Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

— А тебе?

— А что мне? Я вдова, солдатка. А ты…

— А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, — пытался шутить Танабай.

— Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

— Ну а я при чем? Я иду, и ты идешь.

— Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

— Слушай, Бюбюжан!

— Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же ум-

ный человек. Мне и без тебя тошно.

— Что ж, я тебе враг, что ли?

— Ты себе враг.

— Как это понимать?

— Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая жен-

щина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», — думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.

— Тр-р, Гульсары, куда ты так несешь?! — спохватывался Танабай, натягивая поводья.

5

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первыми забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать — пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней…

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем — и стар и мал: «Гульсары!», «Инохо-

дец Танабая», «Краса аила»…

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы… Нет, я Гульса-лы… Мама, скажи, что я Гульсалы… Чу, вперед, а-и-и-й, я Гульсалы…»

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке. То было Первое мая.

После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.

С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

— Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай, — шептал он, расчесывая коню гриву и челку. — Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствова-

лось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и, чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай приспустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гуль-

сары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

— Просите у народа благословения! — торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!» — и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу — борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его, и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосягаемой для иноходца скоростью с десяток лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что

впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» — услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрей покатилось навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удил и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника — в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он вскочил на бугор, точно бы

на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало

дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг, и слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается, по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тут иноходец почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, настигали его или нет, этого Гульсары не знал. Бежать становилось невмоготу, силы покидали его.

Но там, впереди, гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатились двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились все громче, сильней. И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары...» И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперед. Ах, люди, люди! Чего только они не могут!..

При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу.

Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда иноходец немного отдышался и успокоился, народ расступился, образуя круг победителя. И снова взмыли

крики: «Гульсары, Гульсары, Гульсары!» А вместе с ним гремело и имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!»

И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсары пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит.

Танабай объезжал народ с распростертыми руками победителя, и снова из края в край прошумел единый вздох благословения: «Оомиин!» — и снова сотни рук поднимались ко лбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье. Она стояла в первом ряду толпы, счастливая и радостная, и не отрываясь смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водопое, глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеребила гриву,

погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывалось в степном урочище козлодранье — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру.

Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсары. В этот раз, уже окруженный ореолом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, к аламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку: кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо

это апофеоз состязания, к тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье.

А майское солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое. На него можно было смотреть не щурясь.

До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с седел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гомонящую кучу и вновь рассыпаясь с криками по полю.

И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили наконец аламан-байгу. Козел был брошен в круг. «Аламан!..»

Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: «Держи-и, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке, на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая под ногу, под стремя, тушу козла.

— Держи-и! Это карий! — закричали все, бросаясь в погоню. — Скорей, Танабай, только ты можешь догнать!

С болтающимся под стременем козлом казах на карем жеребце уходил прямо туда, где алело закатное солнце. Казалось, еще немного — и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом.

Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его. Но тот знал, что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить карего скачущим заслоном, и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех.

Выждав нужное время, Танабай припустил иноходца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до карего жеребца — сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил иноходца по правую сторону карего. Туша козла висела, зажатая под ногу всадника, на правом боку коня. Вот уже ста-

ли равняться. Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть его к себе. Но казах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать иноходца от карего, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону.

— Молодец! — азартно закричал Танабай.

А кони неслись все так же прямо к солнцу.

Больше рисковать было нельзя. Танабай прижал иноходца почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость иноходца позволяли ему почти лежать на шее карего жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину.

— Держись теперь, брат казах! — прокричал Танабай.

— Врешь, сосед, не отдам! — ответил тот.

И началась схватка на бешеном скаку. Сце-

пившись, как орлы на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-звериному, устрашая друг друга, руки их сплетались, из-под ногтей сочилась кровь. А кони, соединенные единоборством всадников, мчались в злобе, торопясь настигнуть багровое солнце.

Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!

Туша козла была теперь между ними, они держали ее на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу, каждый старался зажать ее под ногу, с тем чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и уперся ею в бок карего жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника, и пальцы того медленно разжались.

— Держись! — успел предупредить его побежденный.

От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла. Но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая

иноходца, он бросился убегать, зажимая под стременем добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников:

— Гульсары! Гульсары взял!

Казахи большой группой бросились наперехват.

— Ой-бай, лови, держи Танабая!

Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои аильчане поскорей окружили его заслоном.

Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, Гульсары, спасибо, родной, умница!» — про себя благодарил он иноходца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону.

Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили аильчане Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей бросились наутек. Однако погоня снова вышла наперерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе

клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать…

Солнце смотрело уже одним краешком, смеркалось, а аламан-байга все еще катилась в синей прохладе вечера, содрогая землю конскими копытами. Уже никто не кричал, уже никто никого не преследовал, но все продолжали скакать, увлеченные страстью движения. Растянувшаяся фронтом лавина перекатывалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников, не это ли породило рокочущие звуки казахской домбры и киргизского комуза!..

Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой — игре конец, там аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гульсары шел в середине, как главный корабль, под охраной.

Но он уже устал, очень устал — слишком трудный выдался день. Иноходец выбился из сил.

Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под уздцы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали и от плена раненого батыра…

Вот и река, вот луг, широкий галечный брод. Пока он еще виден в темноте.

Всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлила река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протащили иноходца на тот берег. Все! Победа!

Кто-то снял тушу козла с седла Танабая и поскакал в аил.

Казахи остались на той стороне.

— Спасибо вам за игру! — крикнули им киргизы.

— Будьте здоровы! Встретимся теперь осенью! — ответили те и повернули коней назад.

Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гуль-

сары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем.

— Выпьем, Танабай, за Гульсары: если бы не он, не видать нам сегодня победы.

— Да, карий жеребец могуч был, как лев. И парень тот силен. Далеко пойдет он у них.

— Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как Гульсары уходит от перехвата, прямо стелется по земле травой. Дух захватывает, глядя на это.

— Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а дулдул![20]

— Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам?

— Да он и сейчас уже гоняется, но пока рано. А к следующей весне как раз будет впору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал…

Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности аламан-байги и достоинства иноходца, а он стоял во дворе, просыхая от пота и грызя удила. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах, ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул аламан-

---

[20] Примечания: 20
Дулдул — сказочный скакун.

байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, навострял уши. Очень хотелось поваляться по траве, встряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе. А хозяин задерживался.

Вскоре он, однако, вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год — и иноходцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах.

Танабай подошел к иноходцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник:

— Остыл немного? Устал? Я тоже чертовски устал. А ты не косись, ну выпил, так в твою же честь. Праздник. Да и то малость. Я свое знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось, Гульсары, не косись. Уедем сейчас в табун, отдохнем…

Хозяин подтянул подпруги, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома, все сели по лошадям и разъехались.

Танабай ехал по уснувшим улицам аила. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался

соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался щелкать и свистать.

Танабай придержал иноходца.

— Красота какая! — сказал он вслух. — А тихо как! Только соловей заливается. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе… Тебе в табун, а я…

Они миновали кузницу, и отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там — в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице, в конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал, потом вздохнул и нерешительно тронул поводья.

Иноходец пошел дальше. Танабай свернул вниз к реке и, выйдя на дорогу, заторопил коня. Гульсары и сам хотел побыстрей добраться до стойбища. Пошли лугом. Вот и река, заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремучая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гульсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку.

Гульсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя удила, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору.

У дома хозяин опять заерзал в седле, задергал удила то туда, то сюда, не поймешь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно.

Танабай слез с седла, пошел по двору, ведя на поводу иноходца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — раздался изнутри голос.

— Это я, Бюбюжан, открой. Слышишь, это я!

В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились.

— Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбюжан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахнуло теплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы.

— Ты извини, — негромко проговорил Танабай, — с аламана поздно прискакали. Устал. А конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а

табуны далековато, сама знаешь.

Бюбюжан помолчала.

Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водопоя. Иноходец ждал, что она подойдет и погладит его по шее, но она не сделала этого.

— Холодно, — передернула Бюбюжан плечами. — Ну что стоишь? Заходи, коли так. Эх ты, придумал, — тихо засмеялась она. — Я и сама извелась вся, пока ты тут топтался на коне. Как мальчишка.

— Я сейчас. Коня поставлю.

— Ставь вон там в углу, у дувала.

Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая удила, и долго возился с подпругами: одну приослабил, а другую так и забыл.

Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас.

Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе.

Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гульсары видел вздымающиеся в выси ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тарахтел на поле все тот же трактор, и пел в садах все тот же

одинокий соловей.

С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня.

Ночь светлела. Иноходец стоял и переминался, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.

Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать Гульсары теплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы.

Бюбюжан вышла проводить Танабая. Приникла к нему, и он долго целовал ее.

— Исколол усами, — прошептала она. — Торопись, смотри, как светло. — Она повернулась, чтобы уйти.

— Бюбю, поди сюда, — позвал Танабай. — Слышишь, погладь его, поласкай, — кивнул он на иноходца. — Ты уж не обижай нас!

— Ох, я и забыла, — засмеялась она. — Смотри, да он весь в яблоневом цвету. — И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу.

За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под

его песню, и очень хотелось быстрей добраться к табунам на выпас.

Повезло Танабаю в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастьбы. И у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал, ночью, отогнав табун в лощину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете, еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в лощине. Здесь хозяин сгонял табун, пересчитывал лошадей и наконец успокаивался. Туго приходилось иноходцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин.

Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом, но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Все чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливисто ржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось, они льнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. Иноходцу крепко перепадало — жеребец был старым и свирепым драчуном.

Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай…

В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь: всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мякоть рта. И все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо.

Уже сквозь дрему, сквозь полусон Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покатил, брякая, пустой подойник, сорвал и умчал с веревки белье. Собачонка заскулила, заметалась, не зная, куда приткнуться. Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши. Вскинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно накипавшую мглу — туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затре-

щала, как поваленный лес, прогрохотал гром, молнии располосовали тучи. Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и не переставая ржал в надежде услышать ответные крики табуна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи!..

Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, за ним — женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома с хлопающей на ветру дверью.

— Стой! Стой! — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал и все рвался и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке.

— Скорее отвязывай! — крикнул он женщине.

Та едва успела отвязать чумбур, как иноходец, дыбясь, потащил Танабая по двору.

— Камчу скорей!

Бюбюжан — за плеткой.

— Стой, стой, убью! — кричал Танабай, остервенело хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей?

Но и иноходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту — туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал на дыбы, потому он рвался отсюда. А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом мятущуюся во вспышках ночь.

— Держи! — приказал Танабай Бюбюжан и, когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а Гульсары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже.

Не подчиняясь уже ни удилам, ни плети, ни голосу, Гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот

воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога, он неудержимо мчался и мчался вперед. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на аламан-байге, не бежал так Гульсары, как в ту ураганную ночь.

Танабай не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему жгучим пламенем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозгу: «Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог, умчатся в низовья к железной дороге. Крушение! Помоги мне, Аллах, помоги! Помогите, арбаки[21], где вы? Не упади, Гульсары, не упади! Вынеси в степь, туда, туда, к табуну!»

А в степи шарахались белые зарницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, бил по ветру дождь.

То светло, то темно, то светло, то темно…

Иноходец взметывался на дыбы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взывал, он искал, он ждал. «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» В ответ грохотало небо, и — снова в бег, снова в поиски, снова в бурю…

То светло, то темно, то светло, то темно…

---

[21] Примечания: 21
Арбаки — духи предков.

Буря улеглась только к утру. Постепенно расползлись тучи, но гром все еще не утихал на востоке — погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля.

Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей.

А Танабая искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру. А Танабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул: «Вот он, Джайдар-апа, вон он едет!» — и поскакал ему навстречу, Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж.

Молчаливый и страшный ехал Танабай, в мокрой исподней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь иноходце. Гульсары прихрамывал на правую ногу.

— А мы вас ищем! — радостно сообщил ему подоспевший паренек. — Джайдар-апа беспокоиться уже начала.

Эх, мальчишка, мальчишка…

— Заблудился, — пробубнил Танабай.

Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгонять

табун из-под обрыва, жена тихо проговорила:

— Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе. И не стыдно? Ведь ты уже не молод. Дети вот скоро взрослые, а ты…

Танабай молчал. Что было ему говорить?

Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы.

— Поехали домой, Алтыке, — позвала парнишку Джайдар. — Дел не оберешься сегодня и у вас, и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать.

А Танабаю она сказала вполголоса:

— Ты тут побудь. Привезу тебе поесть да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза?

— Там я буду, внизу, — кивнул Танабай.

Они уехали. Танабай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождем и молодой травой.

Лошади не спеша потрусили по перепадкам, по логам, вышли на взлобье. И словно бы мир другой открылся перед Танабаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подернутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд.

Танабай слез с коня, пошел по траве. Рядом

вспорхнул жаворонок, поднялся и защебетал. Танабай шел, опустив голову, и вдруг грохнулся на землю.

Никогда не видел Гульсары своего хозяина в таком положении. Он лежал вниз лицом, и плечи его тряслись от рыданий. Он плакал от стыда и горя, он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок все щебетал…

Через день табуны двинулись в горы — теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки, по пойме, мимо аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони, ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосье: покрики, ржанье, блеянье…

Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике, и все старался не смотреть в сторону аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он получил за это плеткой. Так и не заехали они к женщине с удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу…

Табун дружно бежал.

Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, аил. Впереди горы. До свиданья, степь, до следующей весны. Впереди горы.

6

Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не мог идти. Сюда, до оврага, он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал, как человек. И когда он стал ложиться, Танабай не помешал ему.

Лежа на холодной земле, иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня.

— Ну что, плохо тебе? Совсем плохо? Замерз ты, Гульсары. А ведь ты никогда не мерз.

Танабай что-то еще бормотал, но иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь: тум-там, тум, тум-там, тум… — будто табун убегал в панике от настигавших его преследователей.

Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда…

— Ты тут полежи, я пойду курая наломаю, — сказал старик.

Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охапку. Пошел еще, спустился в овраг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты тамариска. Обрадовался — будет настоящий костер.

Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня. Теперь не боялся, его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер тамариск вперемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню.

Гульсары отогрелся, дрожь затихла, но в глазах стояла желтая муть, давило и жало в груди, дышать было нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они по степи в грозовую ночь, ржет он, вскидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые всполохи.

То светло, то темно, то светло, то темно…

7

Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни — окот, стрижка, выхаживание молодняка, кочевка, и между всем этим у каждого своя жизнь — любовь и разлука, рождения и смерти, гордость за успехи детей и огорчения при неутешительных вестях о них из интернатов: при себе-то, может, лучше учился бы... Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабудутся на время зимние невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах до следующего года. А там опять грянет зима — на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой норов. Все припомнит он, о чем на время призабыл. И в двадцатом веке зима ведет себя все так же...

Все так же было и тогда. Спустились с гор отощавшие стада и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму.

В ту весну гулял Гульсары жеребцом в табуне.

Танабай теперь редко когда оседлывал его, жалел, да и нельзя было этого делать — приближался случной сезон.

Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у Гульсары: не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей, — если так случалось, сразу угонял табун подальше.

Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя. Чоро сдал дела и лежал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга, да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, вечно в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина: не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена — надо же было как-то зарабатывать на жизнь: хоть и мало чего стоит трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один.

Но Джайдар — с ребенком на руках. Какой она

сменщик? День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чоро выписался из больницы и вернулся в аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор. А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно…

Слава иноходца — палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство.

В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговариваясь с женой о разных семейных делах.

Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар, к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены.

— В таком случае, Джайдар, оседлаю я иноходца, — сказал Танабай, прихлебывая из пиалы. — А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать.

— Смотри, тебе виднее, — согласилась она.

Снаружи послышался топот верховых, кто-то ехал к ним.

— Глянь-ка, — попросил он жену. — Кто там?

Она вышла и, вернувшись, сказала, что это «завферма Ибраим» и с ним еще кто-то.

Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбливал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. А за что он недолюбливал Ибраима, Танабай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное — делать он ничего не делал, так себе — учет, переучет. Настоящей коневодческой работы на ферме вовсе не было, каждый табунщик был предоставлен самому себе. На партсобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались, соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные. Чоро их сам подбирал.

Ибраим, сойдя с седла, приветливо развел руки.

— Ассалом алейкум, ба-ай! — Он всех табунщиков называл баями.

— Алейкум ассалом! — сдержанно отвечал Танабай, пожимая приехавшим руки.

— Как живы-здоровы? Как лошади, Танаке, как

сам? — Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались в столь же привычной улыбке.

— В порядке.

— Слава богу. За вас я не беспокоюсь.

— Прошу в юрту.

Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бостек из козьих шкур — специальный полог для сидения на полу.

И ей уделил внимание Ибраим.

— Здравствуйте, Джайдар-байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем?

— Здравствуйте, проходите, садитесь сюда.

Все расселись.

— Налей нам кумыса, — попросил Танабай жену.

Пили кумыс, говорили о том, о сем.

— Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, — рассуждал Ибраим, — а на полеводстве или там на других работах — вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов да отар. Верно ведь, Джайдар-байбиче?

Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упускавшего случая намекнуть на то, что

положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что добыть. Сами хлеб растят, и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещаниями долго не протянешь. Чоро потому и подорвал свое сердце, что, кроме хороших слов, ничего уже не мог дать людям за работу. Но все это, что наболело у него на душе, бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрей выпроводить их, оседлать иноходца — ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно.

— Что-то не узнаю я тебя, брат, — обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту. — Не сын ли ты покойного Абалака?

— Да, Танаке, я его сын.

— О, как время идет! Взглянуть приехал на табуны? Любопытно?

— Да нет, мы…

— Он приехал вместе со мной, — перебил его Ибраим. — Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Джайдар-байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налейте-ка еще чашку.

Снова заговорили о том, о сем. Чуял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу.

— Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите.

Читал Танабай про себя, по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано:

«Распоряжение.

Табунщику Бакасову.

Отправить иноходца Гульсары на конюшню для верховой езды.

Пред. к-за (подпись неразборчивая).

5 марта 1950 г.».

Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу вчетверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Под ложечкой неприятно холодило. Собственно, неожиданного

тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы! Но отдать Гульсары! Это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять иноходца. Надо было все хорошенько обдумать. Надо было взять себя в руки. Ибраим уже начал тревожиться.

— Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке, — осторожно пояснил он.

— Хорошо, Ибраим, — спокойно глянул на него Танабай. — Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим.

— Ну конечно, вы же разумный человек, Танаке.

«Разумный! Черта с два поддамся на твои лисьи слова!» — озлился про себя Танабай.

И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда.

Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену Чоро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, что будет строго наказы-

вать нерадивых, а за невыполнение минимума трудодней пригрозил судом, сказал, что все беды в колхозах происходили оттого, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться — для того и послали его сюда, и он ставит своей главной задачей вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках.

И действительно, учебу наладили — развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уж их дело…

— Танаке, нам пора собираться, — выжидающе посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог, встряхивать и прихорашивать свой лисий тебетей[22].

— Вот что, завферма, передай председателю: Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет.

— Ой-бой, Танаке, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? — изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо, и вдруг… Эх,

---

[22] Примечания: 22

Тебетей — шапка, отделанная мерлушкой или лисьим мехом.

будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток. Но Танабай есть Танабай, он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить.

— Не нужны мне ваши пять жеребцов! — Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напрямую. — Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись? Почему именно Гульсары потребовался?

— Ну как же, Танаке? Председатель — руководитель наш, уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать…

— Что «так сказать»? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходце?

— Обязательно, не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатом были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу — генеральское, а солдату — солдатское. Резонно?

— Здесь дело другое, — неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое, он не стал объяснять, да и не мог бы объяснить. И, чувствуя, что кольцо вокруг иноходца сжимается, сказал зло: — Не отдам. А неугоден — убирайте с табуна. Пойду

в кузницу. Там вы у меня молот не отберете.

— К чему так, Танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу так? — Ибраим заерзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подсказал, сам вызвался, а этот упрямый тип все дело срывает.

Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар:

— Сами посудите, Джайдар-байбиче, ну что такое один конь, ну иноходец? В табуне каких только лошадей нет — выбирайте любую. Человек приехал, прислали его…

— А ты что так стараешься? — спросила Джайдар.

Ибраим запнулся, развел руками:

— А как же? Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать иноходца.

Тот молча кивнул головой.

— Нехорошо получается, — продолжал Ибраим. — Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аилом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет? Где видано такое у киргизов?

— Вот и хорошо, — отозвался Танабай, — пусть

узнает аил. Я поеду к Чоро. Пусть он рассудит.

— Вы думаете, Чоро скажет — не отдавать? С ним согласовано. Подведете только его. Вроде саботаж. Нового председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чоро — человек больной. Зачем портить его отношения с председателем? Чоро будет парторгом, ему работать с ним.

И тут, когда речь зашла о Чоро, Танабай замолчал. Все замолчали.

Джайдар тяжело вздохнула.

— Отдай, — сказала она мужу, — не держи людей.

— Вот это разумно, так бы давно, спасибо вам, Джайдар-байбиче.

Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из завфермой стал заместителем председателя по животноводству…

Танабай сидел в седле, потупив глаза, и не глядя все видел. Видел, как Гульсары был пойман и как на него надели новый недоуздок — свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцевал его плеткой Ибраим с потягом сплеча, подскакивая на коне то с од-

ной, то с другой стороны. Видел глаза иноходца, смятенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина, видел, как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал, видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках, видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья, видел его поступь, следы копыт, все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти, — все видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели Гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними.

— Стой, не смей. — Джайдар выбежала из юрты.

И на скаку его вдруг осенила страшная догадка — мстит жена иноходцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлестывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, спрыгнул и, страшный, с исказившимся, побелевшим лицом, подбежал к жене.

— Ты почему? Ты почему сказала «отдай»? — прошептал он, глядя в упор.

— Уймись. Опусти руки, — как всегда спокойно осадила она его. — Послушай, что я тебе скажу.

Разве Гульсары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. Иноходец тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза: как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла овдоветь, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну пусть это не в счет. У тебя трое детей. Куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам…

Уехал Танабай в степь. Пропадал у табуна до самого вечера, все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот.

Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки. Подала ужин.

— Не хочу, — отказался Танабай. А потом сказал: — Возьми темир-комуз[23], сыграй «Плач верблюдицы».

Джайдар взяла темир-комуз, поднесла его к

[23] Примечания: 23

Темир-комуз — щипковый музыкальный инструмент в виде железной скобы со стальным языком посредине.

губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку, дохнула на нее, затем вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша. Горюет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья с веток, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

Хорошо играла Джайдар на темир-комузе. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще.

Слушал Танабай, уронив голову, и опять не глядя все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы, в жару и холод. Поседевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз. Проступала за теми морщинами ушедшая юность — смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи, и он сам — молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена

в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе.

…Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

А девочки спали обнявшись. А за юртой лежала степь — огромная и непроглядная во мраке ночи.

В тот час бунтовал Гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню — в тюрьму для лошадей.

8

Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца. Со свисающим обрывком веревки от недоуздка, под седлом.

— Гульсары, Гульсары, здравствуй! — подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стременами. И что его особенно возмутило — с пышной бархатной подушкой на седле, точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая.

— Тьфу! — Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но Гульсары увильнул. Иноходцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истосковался по ним, что не заметил своего бывшего хозяина.

«Значит, сбежал-таки, оборвал повод. Молодец! Ну погуляй, погуляй, так и быть, я умолчу», — подумал Танабай и решил, что надо дать пробежку табуну. Пусть Гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не примчалась погоня.

— Кайт-кайт-кайт! — крикнул Танабай, при-

встал в седле и, размахивая укруком, погнал табун прочь.

Двинулись матки, сзывая жеребят, побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы. Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары встрепенулся, выправился, пошел гоголем. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремена колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой коновязи, грызя удила и шарахаясь от громыхающих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки и как новый его хозяин вышел вместе со всей своей компанией и ото всех несло вонью. Как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи. Как понес он нового хозяина во весь опор и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать удила и бить его камчой по голове.

Все забыл иноходец, все: кружил ему голову

табуний дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра… Бежал иноходец, бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним.

Вернул Танабай табун на прежнее место, и тут подоспели из аила двое конюхов. И снова увели Гульсары из табуна в конюшню.

Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укрук на шею иноходца. Сам поймал, сам обротал и сам повел его в аил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища подгонять иноходца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым иноходцем. Передавая им Гульсары, Танабай даже поворчал на них:

— Вы что там, безрукие, что ли, собрались, не можете уследить за конем председателя. Вяжите его покрепче.

А когда Гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился:

— Ты что, дурак! Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак, — ругался он, гоняясь с укруком за иноходцем. И снова потащил его назад, и опять ругался с конюхами.

Но Гульсары не собирался умнеть, прибегал при каждом удобном случае. Осточертел конюхам, осточертел Танабаю.

…В тот день уснул Танабай поздно — поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул — беспокойно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то — то ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом, руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне: не к добру снится кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь. А его толкают, смеются над ним, хохочут, визжат — и непонятно кто: «Танабай, в крови моешь руки, в крови. Здесь нет воды, Танабай, здесь кругом кровь! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!..»

— Танабай, Танабай! — трясла его за плечо жена. — Проснись.

— А, что?

— Слышишь, в табуне что-то. Дерутся жеребцы. Наверно, опять Гульсары прибежал.

— Будь он проклят! Покою нет никакого! — Танабай быстро оделся, схватил укрук и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже.

Подбежал и увидел Гульсары. Но что это? Иноходец прыгает, сдвуноженный кишеном

— железными путами. Гремят кандалы на ногах, крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух — косячный жеребец — и лягает, и грызет его почем зря.

— Ах ты изверг! — Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился укрук. Отогнал. А у самого слезы на глазах. — Что с тобой сделали, а? Кто же это додумался заковать тебя! И чего ты притащился сюда, болван разнесчастный?..

Надо же — в такую даль, через реку, через рвы и кочки допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверно, прыгал, всю ночь шел. Один, под звон цепей, как беглый каторжник.

«Ну и ну!» — качал головой Танабай. Стал гладить иноходца, лицо подставил ему под губы. А тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил.

— Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздоровится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь…

Осмотрел Танабай иноходца. Ссадины, полученные в драке, заживут. А вот ноги потер кандалами крепко. Венчики копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка

слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровенило ему ноги. «Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело», — со злостью думал Танабай. Да и чье же еще? Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок, без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом — и делу конец, а с кишеном коня не уведешь. Но то было давно, а сейчас кишен стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился как память о прошлом. И вот надо ж, наверняка кто-то подсказал. Заковали иноходца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел…

Снимали кишен с ног Гульсары всей семьей. Джайдар держала под уздцы, прикрывала иноходцу глаза, дочки играли поблизости, а Танабай, притащив весь свой короб с инструментами, обливался потом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка, долго пыхтел, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул.

Швырнул кишен подальше, с глаз долой. Смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, и Джайдар повела его к коновязи. Старшенькая

дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому.

А Танабай еще сидел, отдувался — устал. Потом собрал инструмент, пошел, поднял с земли кишен. Вернуть надо, а то еще отвечать придется. Разглядывая поржавевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло, забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли — это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать! И недорогие вроде, а красивые вещи были. Каждая сама по себе, особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд: кружки, чашки, ложки, серьги и тазы — куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-седельники тоже последние остались. А какие седла умели делать! Каждое седло свою историю имело: кто, когда, для кого сделал и как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверно, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство, а ведь в руках и душа, и глаза человека…

Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения о народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышав откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку…

А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?

Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика Торгоя. Юрте было много лет, и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила ее

в жилой вид, а через неделю-другую снова расползалась квелая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно.

— До каких пор будем мучиться? — жаловалась она. — Смотри, это же не кошма, а прах, сыплется, как песок. А кереге-ууки[24] во что превратились! Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы наконец зажить по-людски…

Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было в аиле, что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли, а молодежь и представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было.

— Хорошо, дайте шерсти, мы сами сваляем кошмы, — попросил Танабай.

— Какая шерсть! — сказали ему. — Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану, в хозяйстве не положено оставлять ни грамма… — И предложили взамен брезентовую

---

[24] Примечания: 24

Кереге-ууk — разборный деревянный остов юрты.

палатку.

Джайдар наотрез отказалась:

— Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке.

Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарища, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать покрасивей. А гости появятся — не знаешь, куда их приткнуть.

— Нет-нет! — отказывалась Джайдар. — Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве, и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду.

Встретил как-то Танабай в те дни Чоро, рассказал обо всем.

— Как же это получается, председатель?

Чоро грустно покачал головой:

— Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время. И руководители наши наверху. А сейчас что — пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье. Дефицит. Экспорт. На внутрихозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно.

Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью: «Нецелесообразно! Ха-ха-ха! Нецелесообразно!»

Долго не выходило у него из головы это жестокое слово — «нецелесообразно».

Так они и жили в старой, латаной-перелатаной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар…

Подошел Танабай к своей юрте с кишеном в руках. И такой убогой показалась она ему, такое зло взяло его на все — и на себя, и на кишен этот, которым раскровенили ноги иноходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за Гульсары.

— Забирайте! — крикнул им Танабай. И губы его запрыгали от злости. — А кишен этот передайте председателю и скажите ему: если еще раз посмеет заковать иноходца, я ему этим кишеном голову размозжу. Так и скажите!..

Зря он это сказал. Ох, зря! Никогда не проходила ему даром эта горячность и прямота его…

9

Стоял светлый, солнечный день. Щурилась на солнце весна, курчавилась новой листвой, дымилась на пашне и лезла травой на тропы, прямо под ноги.

Возле конюшни ребятня играла в чижика. Подкинет чижик в воздух этакий шустрый паренек и пульнет его с размаху вдоль дороги. Станет мерить палкой по земле расстояние — раз, два, три… семь… десять… пятнадцать… Придирчивые судьи идут рядом гурьбой, следя, чтобы тот не мухлевал. Двадцать два.

— Было семьдесят восемь, и теперь двадцать два, — считает паренек и, подведя итог, вскрикивает, вне себя от радости: — Сто! Есть сто!

— Ура-а, сто! — подхватывают другие.

Значит, попал в точку. Без перебора и недобора. Теперь проигравший должен «дудеть». Победитель идет к кону и отсюда снова закидывает чижик. Да так, чтобы подальше. Все бегут туда, где он упал, оттуда еще один удар по чижику, и так три раза. Побежденный чуть не плачет — так далеко придется ему дудеть! Но закон игры неумолим. «Что стоишь, давай дуди!» Дудильщик

набирает воздуху в легкие и бежит, приговаривая:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй.
А погонишь – не догонишь,
Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!

Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до кона не дотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова не дотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху — вези! Он забирается дудильщику на спину, и тот везет его, как ишак.

— Ну вперед, а ну быстрей! — понукает ногами седок. — Ребята, смотрите, это мой Гульсары. Смотри, как он идет иноходью…

А Гульсары стоял за стеной, в конюшне. Томился. Что-то его и не оседлывали сегодня. Не кормили и не поили с утра. Позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один в стойле…

Конюхи убирают навоз. Ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь. Видится ему вольная равнина, как бродят там по раздолью табуны. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой…

Дернулся Гульсары, попробовал оборвать

привязь. Нет, крепко привязали его на двух цепных растяжках. Может, услышат свои? Вскинул голову к окну под крышей Гульсары и, перетаптываясь по настилу, гулко и протяжно заржал: «Где вы-ы-ы?..»

— Стой, черт! — подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И, обращаясь к кому-то за дверь, крикнул: — Выводить, что ли?

— Выводи! — ответили со двора.

И вот двое конюхов выводят иноходца во двор. Ух, как светло! А воздух какой! Затрепетали тонкие ноздри иноходца, трогая и вбирая в себя пьяный воздух весны. Листьями горьковато пахнет, влажной глиной пахнет. Кровь играет в теле. Побежать бы сейчас. Гульсары припрыгнул слегка.

— Стой! Стой! — осадило его сразу несколько голосов.

Что это сегодня так много людей вокруг него? С засученными рукавами, руки здоровенные, волосатые. Один, в сером халате, выкладывает на белую тряпицу какие-то блестящие металлические предметы. Сверкают они на солнце до боли в глазах. Другие — с веревками. О, и новый хозяин здесь! Стоит важно, расставив толстые короткие ноги в широченных галифе. Брови насуплены,

как и у всех. Только рукава не засучены. Одной рукой подбоченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разило все тем же вонючим духом.

— Ну, что стоите, начинайте! Начинать, Джорокул Алданович? — обращается к председателю Ибраим. Тот молча кивает головой.

— Ну, давайте! — суетится Ибраим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибраим брезгливо отряхивает ее и снова вешает. — Вы бы посторонились чуток, Джорокул Алданович, — говорит он между тем, — а то ведь, не ровен час, заденет копытом. Конь — тварь неразумная, всегда жди подвоха.

Передернул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосяной аркан. Колючий. Аркан завязали скользящей петлей на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводят аркан к задней ноге, на лодыжку, зачем-то еще опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, хрипит, косит глазами. К чему все это?

— Быстрей! — торопит Ибраим и взвизгивает неожиданным фальцетом: — Вали!

Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут на себя аркан. Гульсары падает на землю

как подкошенный — гха-а! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей, почему деревья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдет.

Гульсары мотнул головой, подался всем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. Иноходец рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной еще задней ногой. Аркан натянулся, затрещал.

— Наваливай, дави, держи! — заметался Ибраим.

Все кинулись на коня, придавили коленями.

— Голову, голову прижимайте к земле! Вяжи! Тяни! Так. Да побыстрей. Возьми тут еще разок. Тяни, еще раз, еще. Вот так. Теперь зацепи здесь, вяжи узлом! — не переставая визжал Ибраим.

И все туже опутывали арканом ноги иноходца, пока все они не были собраны в один жесткий узел. Застонал, замычал Гульсары, все еще пытаясь высвободиться из этой мертвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседал на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу иноходца, онемели ноги. И он сдался.

— Фу, наконец-то!

— Ну и силища!

— Теперь не шелохнется, если даже он трактор!

И тут к поваленному иноходцу подскочил он сам, новый хозяин его, присел на корточки в изголовье, обдал вчерашним сивушным духом и заулыбался в откровенной ненависти и торжестве, точно бы лежал перед ним не конь, а человек, враг его лютый.

К нему подсел, утираясь платком, распаренный Ибраим. И, сидя так рядышком, они закурили в ожидании того, что должно еще было последовать.

А за двором играли мальчишки в чижика:

Акбай, Кокбай,

Телят в поле не гоняй,

А погонишь – не догонишь,

Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!

Солнце все так же светило. И видел он в последний раз большую степь, видел, как бродят табуны там по раздолью. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой… А морду облепили мухи. Не сгонишь.

— Начнем, Джорокул Алданович? — снова

спросил Ибраим.

Тот молча кивнул. Ибраим встал.

Все снова задвигались, навалились коленями и грудями на связанного иноходца. Прижали еще крепче голову его к земле. Чьи-то руки завозились в паху.

Мальчишки поналезли на дувал, как воробьи.

— Смотри, ребята, смотри, что делают.

— Копыта чистят иноходцу.

— Знаешь ты много. Копыта! Вовсе и не копыта.

— Эй, что вам тут надо, а ну прочь отсюда! — замахал на них Ибраим. — Идите играйте. Нечего вам тут.

Ребята скатились с дувала.

Стало тихо.

Гульсары весь сжался от толчков и прикосновения чего-то холодного. А новый хозяин сидел на корточках перед ним, смотрел и чего-то ожидал. И вдруг острая боль взорвала свет в глазах. Ах! Вспыхнуло ярко-красное пламя, и сразу стало темно, черным-черно…

Когда все было кончено, Гульсары лежал еще связанный. Надо было, чтобы унялась кровь.

— Ну вот, Джорокул Алданович, все в порядке, — потирая руки, говорил Ибраим. — Теперь

он никуда бегать не будет. Все, набегался. А на Танабая не обращайте внимания. Плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел — раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает…

Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тебетей, встряхнул его, пригладил и надел на потную голову.

А ребятня все гоняла чижа:

Акбай, Кокбай,
Телят в поле не гоняй,
А погонишь – не догонишь,
Будет тебе нагоняй – ду-у-у-у!

— Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, Гульсары, вперед! Ура-а, это мой Гульсары!

Стоял светлый, солнечный день…

10

Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру…

Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля. Затылок сводит чугунной тяжестью, голова устала мотаться то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал, сдвуноженный кишеном. И как тогда, не может Гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега, хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью, хочется быстрей домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним по большой полынной степи, но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, как беглый каторжник, идет он, прыгает шаг за шагом, шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, когда иноходец, прыгая, вскидывает голову, и падает камнем, когда он роняет голову.

То светло, то темно, то светло, то темно… Глаза устали смотреть.

Гремят цепи, растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок, еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах, как трудно идти в кандалах.

Горит костер на краю оврага. Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля…

11

Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На все лето, на всю осень и всю зиму, до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать! Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издавна говорят: если считаешь, что ты беден, — попробуй перекочуй.

Надо было уже приготовляться к кочевке, надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну… А Танабай ходил как в воду опущенный. Странным он казался жене в те дни. На рассвете спешит — поговорить не успеешь, ускачет в табун. Возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает, все время настороже.

— Что с тобой? — допытывалась Джайдар.

Он отмалчивался, а однажды сказал:

— Сон я видел недавно дурной.

— Это ты чтобы отвязаться от меня?

— Нет, на самом деле. Из головы не выходит.

— Дожили. Не ты ли был заводилой безбожников в аиле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что, крутишься возле

табуна, а что кочевка на носу — тебе хоть бы что. Разве я управлюсь одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чоро. Порядочные люди перед кочевкой проведывают больных.

— Успеется, — отмахивался Танабай, — потом.

— Когда потом? Да ты что, в аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там.

На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табуном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джайдар — с маленькой девочкой, Танабай — со старшей. Детей везли, посадив перед седлами.

Ехали по улицам аила, здоровались со встречными и знакомыми, а возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь.

— Постой, — сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочку к жене на круп коня.

— Ты что? Куда ты?

— Я сейчас, Джайдар. Ты езжай. Скажи Чоро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела, закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы, кухнали на кочевку запасти.

— Да неудобно же врозь.

— Ничего, ничего. Ты езжай. Я сейчас.

Ни в контору, ни в кузницу Танабай не загля-

нул. Поехал он прямо на конный двор.

Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, все лошади в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни.

— Так и знал, сволочи! — тихо сказал он, сжимая кулаки.

Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная, с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Танабай замычал, кусая губы, хотел подойти к иноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого, выхолощенного иноходца. Он повернулся и молча побрел прочь. Дело было непоправимое.

Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене:

— Сбылся мой сон.

— А что?

— В гостях не стал об этом говорить. Гульсары

больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охолостили, сволочи!

— Знаю. Потому и потащила тебя в аил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты! Разве первый и последний раз выхолащивают коней? Так было испокон веку и так будет. Это же известно каждому.

Ничего не ответил на это Танабай. Только сказал:

— Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце.

— Ну, ты это брось, Танабай, — сказала Джайдар. — Если оскопили твоего иноходца, так сразу и председатель плохой? Зачем так? Человек он новый. Хозяйство большое, трудное. Чоро вон говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем…

После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. Ругал себя, заставлял все забыть, но из головы не выходило то, что увидел днем на конюшне. И думал он, объезжая табун, кружа по степи: «Может, и вправду нельзя судить так о человеке? Глупо, конечно. Оттого, наверно, что старею, что гоняю круглый год та-

бун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить?.. А послушаешь речи — будто все идет хорошо. Ладно — положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверно, так думают...»

Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспомнилось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Что ж, и зажили поначалу неплохо. Еще лучше зажили бы, если бы не эта проклятая война. А теперь? Сколько лет уже прошло после войны, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте прикроешь — в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой? Тогда собрание что постановило — закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание — одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозом вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со стороны виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство то так, то эдак, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно — того и гляди, спросят:

ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали — больше всех глотку драл, растолкуй нам, как все это получается? Что им скажешь? Хоть бы собрали да рассказали, что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет, уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шел, всем доступный был. А теперь приедет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит, так все больше о международном положении, а положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте план, и все…

Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье — косится: мысли ваши, говорит, сомнительные. Не одобрил. Как же все это получается?

«Вот встанет Чоро с постели, — решил Танабай, — заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет?.. Что же тогда? Нет-нет, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой табунщик, пастух. А там люди мудрые…»

Вернулся Танабай в юрту и долго не спал. Все голову ломал: в чем тут загвоздка? И снова не находил ответа.

А с Чоро так и не удалось потолковать. Перед кочевкой дела заели.

И опять двинулось кочевье в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки, по пойме пошли стада, табуны, отары. Караваны вьюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин, пели девушки о расставании.

Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо аила. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни иноходца Гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне…

…Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

12

Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась.

Вернувшись из-за перевала, он остановился в предгорье, на осенних выпасах, с тем чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочища.

И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза.

— Чоро прислал меня, — сказал он Танабаю. — Передал, чтобы ты завтра приехал в аил, а оттуда поедете на совещание в район.

На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чоро был здесь, в комнатке парторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу.

Когда они остались вдвоем, Чоро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые, жесткие щеки, улыбнулся:

— А ты, Танабай, не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись — с самой весны? Ку-

мыс и воздух гор — дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверно, уже… — Помолчав, Чоро заговорил о деле: — Вот что, Танабай. Знаю, скажешь — дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов. С животноводством очень плохо, особенно с овцеводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом: коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в отары. Выручай! Тогда выручил с табунами, спасибо, и теперь выручай. Берись за отару, переходи в чабаны.

— Скор ты шибко, Чоро. — Танабай помолчал. «К лошадям я привык, — думал он. — А с овцами скучновато будет! Да и как все это пойдет?»

— Неволю тебя, Танабай, — сказал опять Чоро. — А ничего не поделаешь — партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, отвечу за все сразу!

— Да уж припомню как-нибудь крепко, не обрадуешься! — засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чоро все… — А насчет отары подумать надо, с женой поговорить.

— Ну что ж, подумай. Но к утру решай, завтра

надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная — поймет. Не будь ее при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул, — пошутил Чоро. — Как там она поживает? Дети как?

И они разговорились о семьях, о болезнях, о том, о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чоро, однако стали заходить скотоводы, вызванные с гор, да Чоро и сам заспешил, поглядев на часы.

— Значит, так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем! А я отправлюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходце к вечеру, он не хуже машины идет.

— Как, разве ты ездишь на Гульсары? — удивился Танабай. — Уважил, выходит, председатель…

— Как сказать. Уважил не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда, — смеясь, развел руками Чоро. — Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так и эдак. Ни в какую! Хоть убей. А я езжу — идет

хорошо, крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце, болит, а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только за одно это готов всю жизнь работать парторгом, лечит он меня! — смеялся Чоро.

Танабай не смеялся.

— Я ведь тоже его не люблю, — промолвил он.

— Кого? — спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза.

— Председателя.

Чоро посерьезнел.

— За что же ты его не любишь?

— Не знаю. Думается мне, пустой он человек, пустой и злой.

— Ну знаешь, на тебя трудно угодить. Меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость, этого тоже, оказывается, не любишь... Не знаю. Вышел я на работу не так давно. Пока не разобрался.

Они замолчали. То, что Танабаю хотелось рассказать Чоро — о кишене, в который заковывали Гульсары, о том, как оскопили жеребца, — показалось ему теперь неуместным, неубедительным. И чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость:

— Очень хорошо, что машину дали. Значит, и

в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо. Пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полуторку. Митинг целый собрался. Как же — своя машина в колхозе. Ты еще выступал, стоя в кузове: «Вот, товарищи, плоды социализма!» А потом и ее забрали на фронт…

Да, было такое время… Удивительное время, как солнца восход. Что там автомашина! Когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда аил к новой песне! В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны, выносили их на улицу и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. «Эй, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку!..» Это тоже были для них плоды социализма…

— А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полуторку — полным-полно! — вспоминал, оживляясь, Танабай. — Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался — погибли все на войне. Да… И ночью,

слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я все не выпускал его из рук… То был мой флаг. И все пел, охрип даже, помню… Почему мы теперь не поем, Чоро?

— Стареем, Танабай, теперь уже не к лицу как-то…

— Да я не об этом — мы свое отпели. А молодежь? Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит, отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего… А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке, как-то водил он меня в церковь на Пасху. Вот и наши ребята станут все на сцене, руки по швам, лица каменные, и поют, как в русской церкви. И все одно и то же… Не нравится мне это. И вообще много непонятно мне теперь, поговорить бы нам надо… Отстал я от жизни, не все стал понимать.

— Ладно, Танабай. В другой раз потолкуем, выберем время. — Чоро стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку. — Только ты не переживай больно. Я, например, верю, крепко верю: как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали… — говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил: —

Слушай, Танабай, проезжал я как-то по улице — совсем запустел твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина. Джайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойди посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу — пойду, говорит, выкошу бурьян во дворе Танаке. Штукатурка пообвалилась, стекла повыбиты, говорит: воробьи носятся по комнатам, как на гумне.

— Насчет дома — это ты верно. И Самансуру спасибо. Как там он учится?

— На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь — молодежь, а я по сыну своему сужу — вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте. Ну, да видно будет. Молодежь грамотная идет, подумает о себе…

Чоро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хрумкал под ногами сухой, пыльный бурьян, скошенный летом студентом — сыном Чоро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто.

А у него две сестры родные жили в других аилах, с братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чоро все равно уговорит его, не сможет он отказать ему, согласится, как всегда.

Утром выехали на машине из аила и покатили в райцентр. Новый трехтонный «ГАЗ» понравился всем. «Едем, как цари», — шутили скотоводы. Радовался и Танабай — давно не приходилось ему ездить на машине, почитай с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских «Студебеккерах». Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие, — подумал тогда Танабай. — Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил: кончится война — будут и у нас. После победы все будет!..

В открытом кузове, на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи:

— Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков? Пойте, мы послушаем.

Молодежь запела. Сперва у них не ладилось,

а потом дело пошло. Веселей стало ехать. «Вот и хорошо, — думал Танабай. — Так-то лучше. А главное, хорошо, что собирают наконец нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальству-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело...»

В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю площадь возле клуба. И шашлычники, чайханщики были тут как тут. Дымили, чадили, скликали приезжих.

Чоро уже ждал.

— Слезайте быстрей, да идемте. Занимайте места. Скоро начнется. Танабай, куда ты?

— Я сейчас, — бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего Гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны.

Иноходец стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-желтой, буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами.

— Здравствуй, Гульсары, здравствуй! — зашептал Танабай, протискиваясь к нему. — Ну, как ты тут?

Иноходец скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал.

— А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда? Знаю… Ну ладно еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке, — говорил Танабай, ощупывая в переметной суме остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом. — Ну, ты стой, а я пойду.

У входа в клуб на стене алели полотнища с надписями «Коммунисты — вперед!», «Комсомол — авангард советской молодежи!».

Народ шел густо, растекаясь в фойе и зрительном зале. В дверях Танабая встретили Чоро и председатель колхоза Алданов.

— Танабай, пойдем в сторонку, — заговорил Алданов. — Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас.

— А о чем же мне говорить?

— Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок. Чабаном маточной отары.

— И все?

— Ну как все! Скажешь свои обязательства. Обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждых

ста маток и настричь по три килограмма шерсти с головы.

— Как же я скажу, если я в глаза не видел отару?

— Ну вот еще, подумаешь! Отару получишь. — Чоро смягчил разговор. — Выберешь себе овец, какие приглянутся. Не беспокойся. Да, и еще скажи, что берешь под шефство двух молодых чабанов-комсомольцев.

— Кого?

Люди толкались. Чоро смотрел списки.

— Болотбекова Эшима и Зарлыкова Бектая.

— Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это?

— Опять ты свое! Странный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними? Не все ли равно? Никуда они не денутся, мы их наметили к тебе, дело решенное.

— Ну, если решенное, зачем со мной разговор вести? — Танабай пошел.

— Постой, — удержал его Чоро. — Ты все запомнил?

— Запомнил, запомнил, — раздраженно бросил Танабай на ходу.

13

Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к отарам и стадам, на фермы, в аилы и села.

Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал. Осень. Примостился Танабай в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно говорил этот в очках, секретарь обкома: «Никто не уготовил нам пути-дороги, самим их пробивать». Подумать только, с самых тридцатых годов — то вверх, то вниз, то на подъем, то на спуск… Не простое, видно, дело — колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину, всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал, и глупости порол не раз, все казалось — вот оно, вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься…

Ну что ж, работать — значит работать. Правильно сказал секретарь — жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то,

после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив… Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли — была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие и чтобы от трудов этих счастье было… Как-то повернется у него теперь с отарой? Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать — девчушкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать: по сто десять ягнят на сотню да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен, а против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различить, дунешь — и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые те килограммы. А ведь иные, наверно, и ведать не ведают, как все оно добывается…

Да, сбил его Чоро, спутал… «Выступи, — говорит, — но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори. Не советую». А Танабай и послушался. Вышел на трибуну, оробел и так ничего и не сказал, что на душе накипело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А Чоро доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли, или потому, что не главный теперь человек в колхозе? Зачем ему

надо было предостерегать Танабая? Нет, что-то в нем сдвинулось, переиначилось как-то. Оттого, наверно, что всю жизнь председателем колхоз тянул, всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется…

«Ну постой, друг, припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз…» — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было, ветер, до дома еще далеко. Что-то там его ждет?..

Чоро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрей, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной иноходью. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал.

На ветру в дороге Чоро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Совещанием в целом он был доволен, очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые. И все же не совсем по себе

было парторгу. Коробило душу. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях, знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся. Обиделся. Эх, Танабай, Танабай! Простак ты, ничему-то тебя жизнь не научила. Ничего-то ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить сплеча. А времена-то уже не те. Теперь важнее всего — как сказать, при ком сказать и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писаное было. Тогда все будет на месте. А пусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. «Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распущенность?» Эх, Танабай, Танабай…

14

Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего Гульсары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы, как бег иноходца… А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чабаном с отарой?..

15

Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только вначале лили дожди, захолодало, лег туман. Но потом за ночь развеяло, разнесло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился — горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шел снег! Они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте, отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные Богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в ее глубине, в ее далекой-далекой сини проступала призрачная даль вселенной. Танабай поежился от изобилия снега и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, к которой ездил на Гульсары. Был бы иноходец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру.

Но он знал, что это только мечта… Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба.

А в ней свои радости, свои горести, как свет и тень на одной и той же горе в одно и то же время. Тем и полна жизнь… «А она, наверно, и не ждет уже. Разве что вспомнила, увидев свежий снег на горах…»

Стареет человек, а душа не желает сдаваться, нет-нет да и встрепенется, подаст свой голос.

Танабай оседлал лошадь, открыл овечий загон, крикнул в юрту жене:

— Джайдар, я отгоню овец, вернусь, пока ты управишься.

Отара засеменила торопливо, потекла потоком спин и голов, поднимаясь по склону. Соседние чабаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадкам пошли овечьи стада собирать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор.

Пока что все обстояло благополучно. Отара Танабаю досталась неплохая — матки второго и третьего окота. Полтыщи голов. Полтыщи забот. А после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды чабанской, было еще далеко.

С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами, однако не сразу привык к ним Танабай. То ли дело

лошади! Но потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже не прибыльны. Теперь главное — овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала Танабая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда.

Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время, на полдня, а то и больше, отлучиться по другим своим делам. А с овцами — никуда. Днем неотступно ходи с ними, ночью — сторожи. Кроме чабана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалось — сплошная работа, без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем, днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины.

— Ну, где я вам возьму подпаска, Танаке? — говорил он с горестным видом. — Вы же разумный человек. Молодежь вся учится. А те, кто не учатся, и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу. У вас всего одна отара — и то вы стонете. А я? У меня все животновод-

ство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш Бектай подшефный. Ты, говорит, обеспечь мне радио, кино, газеты, юрту новую и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет — уйду куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаке!..

Ибраим не врал. Он и сам не рад был, что залез высоко. И насчет Бектая — тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным комсомольцам. Эшим Болотбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Бектай красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему:

— Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь. А проверяльщиков у меня и без тебя хватает.

— А что ж, тебе хуже будет, что ли?

— Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все — ура, ура! А человеческой жизни и сами не видели, и нам житья не давали.

— Ты, парень, не очень, — едва сдерживая себя, цедил сквозь зубы Танабай. — И пальцем в меня не тычь. Не твое это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалеем. Для вас расшибались.

А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то что там кино или газеты, имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв — кул — раб!

Не любил Танабай Бектая, хотя где-то втайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нем сила характера. Горько было Танабаю, видел он, что не туда ведет парня кривая… И потом, когда дороги их разошлись и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал.

В ту раннюю зиму…

Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость.

Октябрь весь был сух и золотист. А в ноябре грянула разом зима.

Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена:

— Вставай, Танабай, замерзла я совсем. Снег идет.

Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом. И ружье было мокрое и холодное.

На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне неспокойно, мотали голо-

вами с непривычки, перхали, отряхивали снег, а он все сыпал. «Постойте, еще не то будет нам с вами, — запахнув плотней шубу, подумал Танабай. — Рано, очень рано пожаловала ты, зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом, к концу, приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай свое дело. Право имеешь и можешь никого не спрашивать...»

Молчала народившаяся зима, торопливо хлопотала впотьмах, чтобы к утру все ахнули, засновали, забегали.

Горы стыли в ночи пока еще темными громадами. Зима им нипочем. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы как стояли, так и будут стоять.

Началась та памятная зима, но что она замышляла, пока никто не знал.

Снег лежал, через несколько дней его еще подвалило, потом еще и еще, и выжил он чабанов с осенних стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по ущельям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов — находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами... Наедет

иногда какое-нибудь начальство, поглядит-поглядит, порасспросит, наобещает кучу всего — и быстрей назад из гор. А чабан опять остается один, лицом к лицу с зимой.

Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там! И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там: знала, что без нее совсем трудно стало. Танабай пас тогда отару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покойно ей, а старшая мерзла — сидела она сзади за отцом. И даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно.

А когда мать на другой день вернулась, что тут было! Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох, нет — отец, конечно, отец, но без матери и он не то.

Так шло время. Зима выдалась переменчивая — то прижмет, то отпустит, раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило Танабая. Хорошо, как расплод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда?

Животы овец между тем все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже

начали обвисать. Суягные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела. Хребты выпирали. Да и что удивляться — плод рос в чреве, наливался материнскими соками, а тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чабану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, подвозить бы корм в горы, но в амбарах колхозных — все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей, ничего и нет.

Каждое утро, выгоняя из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, вымя. Прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнятам выполнит, а вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала — опять же кормить надо было бы лучше. Хмурился Танабай, злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чоро. Насулил. С трибуны выступал. Я, мол, такой-сякой, передовой, перед партией и Родиной слово даю. Хоть бы уж этого не говорил! Да и при чем тут партия и Родина! Обыкновенное хозяйское дело. Так нет… Положено! И чего мы на каждом шагу, надо не надо, бросаемся этими словами?..

Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим

подсказкам стал жить. Им-то что — отбрешутся, вот только Чоро жалко. Никак не везет ему. День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает, а что толку? Осторожный уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых…

Зима шла своим ходом, то обнадеживая, то тревожа чабанов. В отаре Танабая пали две матки от истощения — слабы оказались. И у подшефных его, молодых чабанов, тоже подохло по нескольку овец. Ну не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне.

И вдруг начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худущие уже такие, животы едва тащат, а соски розовеют, набухают не по дням, а по часам. И с чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши. Успевай только принимать. И начнется великая страда чабанская! За каждого ягненка дрожать будет чабан и проклинать тот день, когда пошел за отарой, и радости его предела не будет, если сбережет молодняк, если встанут

ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме.

Но только бы вышло оно так, только бы вышло! Чтоб потом не прятать глаза от людей…

Прислали из колхоза сакманщиц — женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села, — для помощи на время окота. К Танабаю в отару прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселей стало. Сакманщиков надо было по крайней мере человек семь. Ибраим заверил, что они будут, когда отары перекочуют на окотный пункт, в долину Пяти Деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих.

Зашевелились отары, стали перебираться пониже, в предгорья, на окотные базы. Танабай попросил Эшима Болотбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит отару. Отправил их с утра, караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом, полегоньку, чтобы нетрудно было маткам на сносях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину Пяти Деревьев еще два раза, помочь подшефным.

Медленно передвигались овцы, а не поторопишь их. Даже пес соскучился, побежал рыскать по сторонам.

Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорья, тем теплей становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепеке.

В пути вышла небольшая задержка — окотилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок окота наступал через неделю, не раньше. А тут на тебе!

Может, еще начнут ягниться по пути? Осмотрел других — нет, вроде бы не похоже. Успокоился, а потом даже повеселел. То-то обрадуются девчушки его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошенький. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкорунных, те рожают почти голышей.

— Ну, раз уж ты поторопился, погляди на божий свет, — приговаривал Танабай. — И принеси нам счастье! Принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой, чтобы от голосов ваших в ушах звенело и чтобы жили все как один! — Он поднял ягненка над головой. — Смотри, покровитель овец, вот он, первый, помоги

нам!

Вокруг стояли горы, и они молчали.

Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, блеяла.

— Пошли, пошли! — сказал ей Танабай. — Здесь он, никуда не денется.

Обсох ягненок под шубой, пригрелся.

На базу Танабай пригнал отару к вечеру.

Все были уже на месте, из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. Эшима не видно было. Ну да, увел уже вьючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Все правильно.

Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его как гром среди бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расплода стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек — нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в кошаре лежали сугробы.

Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. Танабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются ягненку. Сунул им его в руки и пошел осматривать все

кругом. И куда бы ни ткнулся — всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны, должно быть, все здесь было заброшено, справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнился кособокий прикладок гнилого сена, лежали кучи разбросанной соломы — вот и весь корм, и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящика с солью, что были свалены в углу. Там же, в углу, было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда куда глаза глядят…

Ходил Танабай, спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега, и не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял, как помешанный: «Да как же так можно?.. Да как же так можно?.. Да как же так можно?..»

А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что! Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро: пусть не ждут от него пощады! Раз они с ним так

— не видать им от него добра! Все, конец!..

— А ну постой! — успела перехватить поводья Джайдар. — Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня!

Но где там! Попробуй останови Танабая.

— Отпусти! Отпусти! — орал он, вырывая поводья, наезжая на жену, нахлестывая коня. — Отпусти, говорю! Я убью их! Я убью!

— Не пущу! Тебе надо кого-нибудь убить? Убей меня.

Тут прибежали сакманщицы на помощь Джайдар, прибежали дочки, подняли рев.

— Отец! Отец! Не надо!

Остыл Танабай, но все еще порывался ехать.

— Не держи меня, разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь — вон матки с ягнятами. Куда мы их завтра денем, где крыша? Где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти!

— Да постой ты, постой. Ну хорошо, ну поедешь ты, накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит, нет у них сил на это. Было бы из чего, разве колхоз не построил бы новую кошару?

— Но крышу-то перебрать можно было? А где двери? Где окна? Все кругом развалено, в кошаре

снег, навоз не вывозили лет десять! А смотри, на сколько хватит этого гнилого сена? Разве же ягнятам такое сено? А подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди!

— Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчиной считают! — стыдила жена. — Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать, и нам делать. Я вон приметила по пути к ложбинке шиповник густой, колючий правда, — нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебьемся, если погода не подведет…

Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни.

Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то достала, масла топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласили сакманщиц и сели пить чай. Ох уж

эти бабы. Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай, а после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут невпроворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки силились подносить их.

— Бегите домой, — сказал им отец.

Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. Правду говорил Чоро: не будь Джайдар, не сносить Танабаю головы своей бедовой…

16

На другой день съездил Танабай подсобить перекочевке своих подшефных, а потом всю неделю работал не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там — со всем полком, с дивизией, с армией. А здесь — сам, жена да одна из сакманщиц. Вторая пасла овец поблизости.

Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все изодрал Танабай, шинель солдатскую свою доконал — вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что на лошадь не навьючишь, а на себе не утащишь — колючки. Чертыхался Танабай — долина Пяти Деревьев, а от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, обливаясь потом, волокли они этот проклятый шиповник, дорогу им проборонили к кошаре. Жалко было Танабаю женщин, но ничего не поделаешь. И работалось неспокойно. Времени в обрез, и на небо надо поглядывать — как там? Повалит снег,

тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку бегать к отаре — узнавать, не начался ли окот.

А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными, плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, им и обогреваются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжкого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, засветив чадящие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, тяжелую, как свинец, грязь. Вот уже вторые сутки.

На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непочатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся ягнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод — ведь в день будет появляться по двадцать-тридцать ягнят! «Что будет?» — только об этом и думал Танабай,

накладывая на носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца, до полуночи, до рассвета. Мутило уже. Руки онемели. Да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо, сакманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар.

Прошли сутки, затем еще сутки и еще. А они все носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крыше. И ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. «Началось!» — екнуло под сердцем.

— Ты слышала? — обернулся Танабай к жене.

Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон.

Зашарили фонари, мигая неверным светом, по отаре. Где он? Вон там, в углу! Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватила ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окотилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плаща Танабай. В потугах лежали еще штук пять и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманщиц. Стали выводить из загона окотившихся

маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен.

Постелил Танабай соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозива матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же. И призадумался, закусив губу. А что толку было думать? Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел, сколько забот... Хоть бы соломы было вдосталь, так и той нет. Ибраим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привези солому по бездорожью в горы.

Эх, что будет, то будет! Пошел принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спине двойку, а двойняшкам по тройке. Так же пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут здесь кишеть сотнями. Не за горами, страда чабанская началась!

И началась она круто, жестко, как в обороне, когда нечем отбиваться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух — или чудом выстоять в схватке, или умереть.

Стоял Танабай поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по

сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона. Но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с обмелевшей речушкой теснились между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а за теми — еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там, на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь.

Небо было серое, в серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре-развалюшке уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот.

Отара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там, на выгоне, тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окотится. А потом — раз, прилегла за кустом и опросталась. Если недоглядеть, застудится на сырой земле ягненок, и тогда он уже не жилец.

Однако застоялся Танабай на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы нев-

проворот, надо хоть что-то успеть еще сделать.

Приезжал потом Ибраим, муку привозил, — бесстыжие глаза его… А где, говорит, дворцы я вам возьму? Какие были кошары в колхозе, такие и есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли.

Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.

— При чем тут смешки твои? Я о деле говорю, я о деле думаю. Мне отвечать.

— А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все, за вас, за других, за все животноводство. Думаете, мне легко! — И вдруг, к изумлению Танабая, тот ловкач заплакал, уткнувшись в ладоши, и забормотал сквозь слезы: — Под суд я попаду! Под суд! Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сакманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело…

С тем и уехал, оставив простака Танабая в немалом смущении. Больше его тут и не видели.

Окотилась пока первая сотня маток. В отарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, окот и не начинался еще, но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было — трое взрослых, не считая старую жен-

щину-сакманщицу, которая теперь постоянно пасла отару, и старшая шестилетняя девочка, — едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку. И уже слышны были голодные крики ягнят — им не хватало молока, матки были истощены, и кормить их было нечем. А что ждало впереди?

Закружились круговертью дни и ночи чабанские, наваливалась расплодная — ни вздохнуть, ни разогнуться.

А вчера как напугала их погода! Сильно захолодало вдруг, тучи поползли хмурые, посыпалась жесткая снежная крупа. Потонуло все во мгле, потемнело…

Но вскоре тучи разошлись, и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. «Дай-то Бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда», — думал Танабай, вынося на вилах с соломой водянистые последы приплода.

И весна пришла, только не так, как ожидал Танабай. Заявилась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон,

на все кругом. Вспучилась ручьями и лужами на мерзлой, слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу, подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробирать ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились в кучу ягнята в воде, орали матки, котившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой.

Засуматошились люди в плащах, с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей, метались во тьме большие сапоги его по лужам, по жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой птицы. Хрипел он, кричал на себя и на других:

— Лом давай скорей! Лопату! Навоз валите сюда! Загораживайте воду!

Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы.

— Свети! Свети сюда! Что смотришь!

А ночь никла туманом. Валил снег с дождем. И ничем нельзя было этого остановить.

Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду. Но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намокло. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил

их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокло сверху, и, выбежав, крикнул женщинам в кошару:

— Ягнят тащите в юрту! — и сам побежал туда же.

Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно…

Вот и утро уже. А хляби небесной — ни конца ни края. Приутихнет немного, и снова то дождь, то снег, то дождь, то снег…

Юрта битком набита ягнятами. Орут не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманщицам. Дети мерзнут, плачут.

Пришли черные дни чабана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьется из последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей нетрудно было заявиться сюда — входи, где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей. Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики, по нескольку штук сваливает их за

кошарой.

А на улице, в загоне, под дождем и снегом стоят пузатые суягные матки. Им котиться не сегодня завтра. Бьет их дождь, судорога сводит челюсти. Клочьями обвисает мокрая шерсть, клочьями…

Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту?! Старая сакманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад, точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палкой бы избить этих глупых овец, но ведь они суягные. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас.

С тех пор как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше и даже тройни. И все это богатство пропадало. Все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет и в тот же день околевали в слякоти и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели, их поносило, и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали, бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замед-

лилась! Хотелось кричать этим глупым овцам: «Остановитесь! Не рожайте! Остановитесь!..»

Но они, матки, точно сговорившись, котились одна за другой, одна за другой, одна за другой!..

И поднималась в душе его темная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут как рыба об лед.

Отупение какое-то нашло на него. Дурно становилось от мыслей своих, гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову: «Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если уберечь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем. Красиво говорим. Вот поднимай теперь дохлых ягнят, выноси их. Волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть…»

И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О, эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле,

задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и крови.

Давно уже он не видел себя в зеркале. Не знал, что поседел и постарел на много лет. И что отныне старик — имя ему. Не до того, не до себя ему было. Поесть и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на коня:

— Скачи, найди Чоро. И скажи, чтобы приехал немедленно. А если не приедет, то передай: пусть не показывается мне на глаза!

Прискакала она назад к вечеру, свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки:

— Больной он, Танаке. Лежит в постели, сказал, что через день-два хоть мертвый, но доберется.

— Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай.

Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела, нельзя было.

Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные

овцы за эти дни отощали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы! А те, что окотились, и ягнята, что еще живы, — многие ли из них смогут дотянуть до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хворь доконает их. А нет — будет хурда: ни шерсти, ни мяса от них…

Только прояснилась погода, другая беда — наледь стала намерзать на землю. Гололеду быть. В полдень, однако, отпустило. Обрадовался Танабай: может, удастся еще кое-что спасти. Снова пошли в ход лопаты, вилы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормить сосунков-сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не даются, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь — обсасывают грязные полы плащей. Есть хотят. Бегают вслед плачущей гурьбой.

Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже сколько дней плащи не просыхают на них.

Не говорит им ничего Танабай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул — в жар его кинуло: стоят овцы — шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину.

— Ты что, старая! Не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда! Гони отару. И не давай останавливаться. Не давай им грызть шерсть. Пусть ходят. Чтобы ни минуты не стояли. А то убью!

А тут еще напасть — матка одна с двойнями стала отрекаться от своих ягнят. Бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет. А ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это, как болезнь, заразное. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее ягнятами во двор, к загону, и здесь начали заставлять ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но

матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки.

— Отец, они не могут сосать.

— Могут, ты просто безрукая.

— Да нет же, смотри, они падают. — Она чуть не плакала.

— А ну держи, я сам!

Но сколько там силенок у девочки! Только было подсунул он ягнят к вымени, только было они начали сосать, а овца как рванется — сбила девочку с ног и убежала. Лопнуло терпение Танабая. Залепил он пощечину дочке. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлюпала носом. А он ушел. Плюнул на все и ушел.

Походил, вернулся, не знал, как попросить прощения у дочки, а она сама прибежала:

— Отец, приняла она их. Мы с мамой подсадили ягнят. Больше она не гонит их.

— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.

И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и минут черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение…

Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос…

— Где же ты был раньше?

— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.

— А как у других?

— Не лучше. Эти три дня покосили много.

— Что говорят чабаны?

— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.

— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну а ты?

— А что я? Учет веду.

— А помощь нам какая-нибудь будет?

— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.

— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь. Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай. — Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел

в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.

Ходил Танабай, подбирал приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:

— Подпишите акт о падеже.

Подписал не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.

— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.

— Нечего мне сказывать. — Потом все же задержал парнишку. — Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.

Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел…

Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.

В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался

среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение его перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь…

Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прошел год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. Надул хозяин. И разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю заиметь. «Буду хозяином — никогда не обижу работника», — говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара во-

лов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подоспела. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.

Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота — как-никак батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все

стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.

На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.

По-разному стали говорить. Кто «за», кто «против». Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они

мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячется.

Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.

— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, энтеллегенты. Ты тоже энтеллегент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит, кулак! И никакой пощады! Ради Советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его.

Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.

— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли баи со двора?

— Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем.

— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащишь? Побойся Бога, Танабай.

— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги…

Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле!

Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился будто он в пшеницу молодую — то была первая колхозная озимь, и стал-де рвать ее с корнями да топтать и мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, насилу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он и проклинал Танабая.

Танабай этому не очень-то поверил. «Болтовня вражеская — хотят допечь меня этим. Но черта с два, так уж я и поддался!» — убеждал он себя.

А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался — хлеб уродился в тот год на славу, колос перед колосом гордился, и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянии

Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались, все истоптано, изломано, повысохло все, позарастало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня.

— Ах ты гад! — прошептал он, вскипая злобой. — На колхозный хлеб руку поднял. Значит, ты и есть кулак. А кто же ты больше…

Долго стоял он так здесь на коне, молчаливый и мрачный, с тяжелой думой в глазах, потом развернулся и уехал, не оглядываясь. И после долгое время избегал он это злосчастное место, объезжал стороной, пока не выкосили хлеб, пока жнивье на полях не сровнялось с землей под копытами скота.

Мало кто защищал тогда Танабая. Больше осуждали: «Не приведи Бог иметь такого брата. Лучше безродным быть». Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря, отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но, когда голосовали за его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу и выбыл он из актива. И все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли, а самое главное, что колхоз зажил, дела пошли год от года лучше. Совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все то было тогда.

Вспоминал Танабай все то минувшее до мельчайших подробностей. Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирали силу. Опять припомнил он песни той поры про «ударницу в красной косынке», припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.

Бродил Танабай ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой? Нет, не должно быть так, не должно! Дорога была верная. А что же тогда? Заплутали? Сбились? Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь — записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были, каждый день сколько разговоров, сколько споров: кто на красной доске, кто на черной — важно это было для людей. Теперь говорят, что это все пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это?

Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывали его. Работа валилась из рук. Голова болела. Спать хотелось. Видел,

как молодая сакманщица приткнулась к стене. Видел, как слипались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить. Тоже прислонился к стене и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз…

Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Развиднялось уже.

— Танабай, Танабай, помоги, — звала его жена.

К ней подбежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит — придавило ее обвалившейся с крыши стропилиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнули стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло.

— Джайдар! — вскрикнул он, подлез плечом под стропилину, поднял рывком.

Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ощупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены:

— Что с тобой? Что?

— Ой, поясница! Поясница!

— Ушибло? А ну давайте! — Он скинул мигом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары.

В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было. Но пристукнуло крепко. Шевельнуться не могла.

Джайдар заплакала:

— Как же теперь? В такое-то время, а я? Как же теперь вам!

«О Боже! — пронеслось в голове Танабая. — Надо радоваться, что жива осталась. А она? Да провались эта работа ко всем чертям! Только бы ты цела была, бедняжка моя…»

Он стал гладить ее по голове.

— Что ты, Джайдар, успокойся! Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда, справимся…

И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать и успокаивать Джайдар. И ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ладно уж. Не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану, вот посмотрите.

Женщины принялись готовить ей постель и

разжигать огонь, а Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье пронеслось стороной.

Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропилиной матку. Давеча они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшней стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилину, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой.

Выйдя наружу, он увидел невдалеке стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы, разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана, что тот забрел в чужие места.

Подойдя ближе, увидел, что отару гонит Бектай.

— Эй, Бектай, ты, что ли?

Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему отару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так суягных маток!» — возмутился Танабай.

— Ты откуда? Куда? Здравствуй.

— Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь. — Бектай подходил к нему, туго подпоясанный веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ.

Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло и зло притоптал плевок в снегу. Вскинул голову. Черный был, обросший бородой, точно приклеенной к его молодому, красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели исподлобья с ненавистью и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо.

— Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов.

— А что?

— Ухожу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Куда-нибудь.

— А я при чем?

— При том, что ты мой шеф.

— Ну и что? Постой, постой, ты куда? Ты куда собрался? — Только теперь дошло до Танабая то, что задумал его подшефный чабан. И ему стало душно, горячо от прилившей к голове крови. — Как же так? — промолвил он растерянно.

— А вот так. Хватит с меня. Надоело. Сыт по

горло жизнью такой.

— Да ты понимаешь, что ты говоришь? Окот у тебя не сегодня-завтра! Как же так можно?

— Можно. Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай! — Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее что есть силы и пошел прочь.

Танабай застыл, онемевший. Слов уже не находил. А тот шагал, не оглядываясь.

— Одумайся, Бектай! — Он побежал за ним. — Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь! Ты слышишь?

— Отстань! — Бектай резко обернулся. — Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть. Дудки! Довольно с меня! — И он зашагал, топча белый нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой…

— Бектай, ты послушай меня! — догнал его

Танабай. — Я тебе все объясню.

— Другим объясняй. Ищи дураков!

— Остановись, Бектай. Поговорим.

Тот уходил, не желая слушать.

— Под суд попадешь!

— Лучше под суд, чем так! — огрызнулся Бектай и больше не оборачивался.

— Ты дезертир!

Тот все шагал.

— Таких на фронте расстреливали!

Тот все шагал.

— Стой, говорю! — Танабай схватил его за рукав.

Тог вырвал руку и пошел дальше.

— Не позволю, не имеешь права! — Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног.

Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком.

Уходила за ним одинокая цепочка темных следов.

— Пропал парень, пропал, — застонал Танабай, поднявшись на четвереньки. Встал. Руки были в грязи и снегу.

Отдышался. Собрал бектаевскую отару и пону-

ро погнал к себе.

17

Двое всадников выезжали из аила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой — на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами — путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями.

Гульсары шел на тугих поводьях напористой поступью. Настоялся иноходец, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нем ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды попахивало краской и резиной. Чоро ехал рядом, на другом коне. Это случалось — уступал иноходца товарищу, приехавшему из района. А Гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор как его взяли из табуна, от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей — добрых и недобрых. Удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей. Ох и дурные же они на коне! Разгонит такой вовсю и вдруг осадит удилами, поднимет на дыбы и снова разгонит, и снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что он

на иноходце. Ко всему уже привык Гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне, не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть — бежать, бежать и бежать. А кого он везет, ему все равно было. Это седоку было не все равно, на каком коне он ехал. Буланого иноходца подали — значит, уважают, боятся его. Силен, красив Гульсары. Покойно и надежно на нем седоку.

В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза — тоже, стало быть, уважение. Молчит парторг, боится небось: дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. Иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу.

Ехал с такими мыслями Сегизбаев, покачиваясь в седле в такт поступи иноходца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал,

что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу, и в этой сшибке больше всех достается овцам — гибнет молодняк, гибнут отощавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным — значит, должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потемках своей души он знал еще, что высокий процент падежа в районе ему даже на руку. В конце концов, не он, районный прокурор и всего лишь член бюро райкома, отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь — вот кто отвечает. Новый еще, недавно в районе, вот пусть и отдувается. А он, Сегизбаев, посмотрит. И там, наверху, пусть посмотрят, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадовал Сегизбаев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах, не раз, кажется, доказывал, на что способен. Ну ничего, друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу, засиделся в прокурорском кресле… А иноходец хорош, качается, как корабль, ни грязь, ни слякоть ему нипочем. У парторга-то лошадь уже в мыле, а иноходец только сыреть начал…

А Чоро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем на парт-собрании, но в районе велят подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить, — может, потому? Ушел бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какова от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть? Самансур парень неглупый, теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам, со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора, но пока суд да дело — отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никуда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз в невылазные долги, а сам теперь — на покой? Нет ему покоя, не будет, лучше уж стоять до конца. Придут на помощь, так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настоящему, а

не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал! Ну, суди! А дело приговором не поправишь. Едет, насупился, будто там, в горах, одни преступники, а он один борется за колхоз… А ведь ему наплевать на все, так только, вид напускает. Но попробуй скажи.

18

Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. Весне нездоровилось. Сыро, мутно вокруг.

Бедовал Танабай в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилось сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдеж, блеянье, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут как мухи. А тут еще жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть что будет, то будет. Сил никаких уже нет.

Из головы не выходил Бектай, бессильная злоба на него душила Танабая. Не потому, что он ушел — туда ему и дорога, и не потому, что отару свою подкинул, как кукушка яйца свои в чужое гнездо, — в конце концов пришлют кого-нибудь, заберут его овец, а потому, что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка! Сопляк! А он, Танабай, старый коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы достойно ответить ему. Закинул палку

чабанскую и ушел, сопляк. Разве думал Танабай когда, что случится такое? Разве он думал когда, что станут смеяться над его кровным делом?

«Хватит!» — останавливал он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям.

Вот еще разрешилась одна матка, двойню принесла, хорошенькие ягнята. Только куда их? Вымя у овцы пустое, да и с чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут! Эх, беда, беда! А там вон лежат уже дохлые, закоченелые. Собрал Танабай трупики, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка:

— Отец, к нам едут начальники.

— Пусть едут, — буркнул Танабай. — Ты иди за матерью присмотри.

Выйдя из кошары, Танабай увидел двух всадников. «О! Гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка. — Сколько не видались! Смотри, как идет, все такой же!» Один был Чоро. А другого, в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал! Из района кто-нибудь.

«Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то», — со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться, выплакать свою долю, но нет, не станет он хныкать, пусть они покраснеют. Разве же можно так! Бросили на погибель, а теперь заявляются…

Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошел за угол кошары, выбросил мертвых ягнят в кучу. Вернулся не спеша.

Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чоро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придется держать перед другом. А тот, на иноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу.

— Безобразие! Везде так! Смотри, что тут творится! — возмущался он, обращаясь к Чоро. Потом повернулся к Танабаю: — Что же это ты, товарищ, — кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков, — чабан-коммунист, а ягнята дохнут?

— А они, наверное, не знают, что я коммунист, — съязвил Танабай, и вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько.

— То есть как? — Сегизбаев побагровел. И замолк. — Социалистические обязательства принимал? — нашелся он наконец, одергивая для острастки голову иноходца.

— Принимал.

— А что там было сказано?

— Не помню.

— Вот потому и дохнут у тебя ягнята! — Сегиз-

баев ткнул рукояткой камчи опять в сторону и вскинулся на стременах, воодушевившись возможностью проучить дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на Чоро: — Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства. Срывают планы, губят скот! Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю!

Чоро молчал, опустив голову. Мял в руках поводья уздечки.

— Какой есть, — спокойно ответил за него Танабай.

— Во-во, какой есть. Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии! Ты смеешься над соревнованием.

— Угу, в тюрьме мое место, в тюрьме, — подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздирающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. — Ну! — уставился он на Сегизбаева, силясь унять прыгающие губы. — Что ты еще скажешь?

— Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чоро. — Ну зачем? Объясни все тол-

ком.

— Вот как! Значит, и тебе надо объяснять? Ты зачем сюда приехал, Чоро? — закричал Танабай. — Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю! Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю! Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю! Что я дураком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза? Я и сам знаю!..

— Танабай! Танабай! Опомнись! — Побелевший Чоро спрыгнул с седла.

— Прочь! — оттолкнул его Танабай. — Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал! Уйди! Мое место в тюрьме! Ты зачем привел этого нового манапа в кожаном пальто? Чтобы измывался он надо мной? Чтобы в тюрьму меня сажал? А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму! — Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоявшие у стены, и кинулся с ними на Сегизбаева. — А ну, вон отсюда, сволочь! Убирайся! — И, уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой.

Перетрусивший Сегизбаев бестолково дергал иноходца то туда, то сюда, вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали, звеня, и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не

понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова Гульсары, почему так рвут удила его красную горячую пасть, почему так растерянно и жутко мелькают перед ним выкатившие из орбит глаза коня.

— Уйди, Гульсары, прочь! Дай мне достать этого манапа в коже! — ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове иноходца.

Подоспевшая молодая сакманщица повисла на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул ее наземь. Чоро тем временем успел вскочить в седло.

— Назад! Бежим! Убьет! — Чоро бросился к Сегизбаеву, загораживая его от Танабая.

Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака с лаем преследовала их, цепляясь за стремена, за хвосты коней.

А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и не переставая орал:

— В тюрьме мое место? В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!

Потом вернулся, все еще бормоча, задыхаясь: «В тюрьме мое место, в тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он

ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, ковыляла бледная, перепуганная Джайдар.

— Что ты наделал? Что ты наделал?

— Зря.

— Что «зря»? Конечно, зря!

— Зря избил иноходца.

— Да ты в уме своем? Ты знаешь, что ты наделал?

— Знаю. Я вредитель. Я враг народа, — проговорил он, борясь с одышкой, потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал.

— Успокойся, успокойся, — просила жена, плача вместе с ним, но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. Никогда еще не видела Джайдар плачущего Танабая…

19

Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия.

Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелый проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то все обстояло бы просто. За свое недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз, испоганил все свои тревоги и раздумья. Кто ему теперь поверит? Кто его теперь поймет? «А может, все-таки поймут? — вспыхивала у него надежда. — Скажу обо всем: о зиме нынешней, о кошаре и юрте, о бескормице, о бессонных ночах моих, о Бектае... Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня, — размышлял он, — зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянутся на чабанов, на житье наше, на

наши беды». Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению, и каменно сжимал кулаки между коленками, и упрямо твердил себе: «Нет, ни в чем я не виноват, нет!» А потом снова впадал в сомнения…

Здесь же, в приемной, сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо? Прилетел, как стервятник на падаль», — злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана.

«Что же они тянут? — ерзая на стуле, думал Танабай. — Чего еще — бить так бить!» Там, за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, пришел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налипшим к голенищам сапог шерстинкам. То был желтоватый волос буланого иноходца. «Крепко спешил, видать, пропотел Гульсары до мыла», — подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью.

Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша:

— Войдите, товарищ Бакасов.

Танабай вздрогнул, встал, оглушенный удара-

ми сердца, и пошел в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось. Он почти не различил лиц сидящих здесь людей.

— Садитесь. — Первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танабаю на стул в конце длинного стола.

Танабай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдет туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сегизбаев с надменным лицом. Танабай так напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сегизбаева, и самым бледным, совершенно бескровным, — лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец первый секретарь оторвался от бумаг в папке.

— Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, — сказал он, жестко нажимая

на слова.

— Да, с позволения сказать, коммуниста, — ехидно проронил кто-то с усмешкой.

«Злы! — отметил про себя Танабай. — Пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я, преступник?»

Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона — в лице Сегизбаева и его сторонников — хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить, нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам. Другая сторона — в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сегизбаев метит на его место, — обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострять отношений с этими опасными людьми.

Секретарь райкома зачитал докладную записку Сегизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова, чабана колхоза «Белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испариной от сознания

своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданиям перед этой грозной бумагой?! С кем вздумал он сразиться?

— Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сегизбаева? — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную.

— Да, — глухо отозвался Танабай.

Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом — видите, мол, что происходит.

— Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в существо дела, — решительно заговорил Сегизбаев. — Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то, поверьте мне, я не стал бы

выносить вопрос на бюро: с хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорбленных чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии, за мной в данном случае, если хотите, стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное — все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой, или у него есть единомышленники. Что стоит его заявление: «Новый манап в кожаном пальто!» Оставим в стороне пальто. Но, по Бакасову, выходит, что *я,* советский человек, партийный уполномоченный, — новый манап, барин, душитель народа! Вот как! Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни… Теперь о другой стороне дела. Удрученный крайним неблагополучием с животноводством в «Белых камнях», я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа

и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю — оскорбил его и готов был извиниться перед ним. Но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов — опасный, враждебно настроенный элемент…

Чего только Танабай не пережил, войну прошел с начала до конца, но не подозревал, что сердце может кричать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать, но пули били его в упор. «Боже, — стучало в голове Танабая, — куда девалось все, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какую-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бектая. Кому это нужно!..»

— Напомню еще раз выводы своей докладной записки, — продолжал Сегизбаев, расставляя слова железным порядком. — Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии парторга колхоза товарища Сая-

кова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня, я прошу санкцию на привлечение Бакасова к судебной ответственности, с тем чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье пятьдесят восемь. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи не может быть!..

Сегизбаев знал, что запросил слишком, но он рассчитывал на то, что если бюро и не сочтет нужным привлекать Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии, во всяком случае, будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его, Сегизбаева, позиции еще больше утвердятся.

— Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем поступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение.

— Ничего. Все уже сказано, — ответил Танабай. — Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами, вам виднее.

— А вы считаете себя честным коммунистом?

— Теперь этого не докажешь.

— А вы признаете свою вину?

— Нет.

— Вы что, считаете себя умнее всех?

— Нет, наоборот, глупее всех.

— Разрешите, я скажу. — С места встал молодой парень с комсомольским значком на груди. Он был моложе всех, щуплый, узколицый, выглядел еще как-то по-мальчишески.

Танабай только теперь приметил его. «Крой, мальчик, не жалей, — сказал он ему про себя. — Я тоже был когда-то таким, не жалел…»

И, как вспышку, сверкнувшую в далеких тучах, увидел он то место в пшенице у дороги, где Кулубай рвал и топтал молодое жито. Он увидел это совершенно отчетливо, все разом предстало перед его мысленным взором, и содрогнулся он, закричал в душе беззвучным криком.

Его вернул в себя голос Кашкатаева:

— Говорите, Керимбеков…

— Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание. Но я не согласен и с товарищем Сегизбаевым. — Керимбеков сдерживал в голосе дрожь волнения. — Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища

Сегизбаева…

— Вот те раз! — оборвал его кто-то. — Это у нас в комсомоле, что ли, порядки такие?

— Порядки у всех одни, — ответил Керимбеков, еще больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и превозмогая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлестко и зло: — Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа. Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручен не меньше вашего? Вы, когда приехали к нему, поинтересовались, как он живет, как идут у него дела? Почему гибнет молодняк? Нет, судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Ни для кого не секрет, как тяжело идет расплодная кампания в колхозах. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чабанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а с кормами как? Я сам сын чабана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах все идет по старинке. Душа болит, глядя на все это!..

— Товарищ Керимбеков! — перебил его Сегизбаев. — Не пытайтесь разжалобить нас, чувство — понятие растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства.

— Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии, — продолжал Керимбеков. — Решается судьба коммуниста. Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни?

— Садитесь, — недовольно сказал Кашкатаев. — Вы уводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керимбеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно — коммунист Бакасов совершил тягчайший проступок. Куда это годится? Где это видано? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных, мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керимбеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства чувствами, а дела делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно долж-

но насторожить нас, и, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы, как парторг колхоза, подтверждаете всю эту историю? — спросил он у Чоро.

— Да, подтверждаю, — проговорил бледный Чоро, медленно поднимаясь с места — Но я хотел бы объяснить…

— Что объяснить?

— Во-первых, я попросил бы, чтобы мы у себя в парторганизации обсудили Бакасова.

— Это не обязательно. Проинформируете потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что еще?

— Я хотел бы объяснить…

— Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова налицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразие! Садитесь!

Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты поддержали Керимбекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спра-

шивал себя: «Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дела нет до всего того, что там у нас в отарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет. Теперь я опасный. Ну и черт с вами! Делайте со мной что хотите — если от этого лучше станет, не буду жалеть. Давайте, гоните меня взашей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте…»

Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председателя Танабай видел, что тот кого-то поносит, но кого именно — не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: «Кишен… иноходец Гульсары…»

— … И что вы думаете? — возмущался Алданов. — Он в открытую грозился размозжить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню. Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Кашкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?

— Нет, не надо, — брезгливо поморщился Каш-

катаев. — Достаточно и этого. Садитесь.

Потом стали голосовать.

— Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто «за»?

— Одну минутку, товарищ Кашкатаев. — Снова порывисто встал Керимбеков. — Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение — ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сегизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова, за недопустимый метод работы Сегизбаева как уполномоченного райкома.

— Демагогия! — вскричал Сегизбаев.

— Успокойтесь, товарищи, — сказал Кашкатаев. — Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя, прошу соблюдать дисциплину. — Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев. — Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным, — сказал он, — но в партии ему, конечно, не место, в этом товарищ Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова?

Членов бюро было семь человек. Трое подняли

руки за исключение, трое — против. Оставался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку «за». Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше:

— Запишите в протокол: решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключен из членов партии.

«Вот и все!» — сказал про себя Танабай, помертвев.

— А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву, — не сдавался Керимбеков.

Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить, но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл.

— Кто за предложение товарища Керимбекова? Прошу поднять руки!

Опять три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сегизбаева от выговора. «Только поймет ли он, оценит ли эту услугу? Кто его знает… Коварен, хитер».

Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям.

— Бакасов, вы куда? — остановил его Кашката-

ев. — Оставьте свой партийный билет.

— Оставить? — Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось.

— Да. Положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе…

Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко, под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитой руками Джайдар. Сумочку эту Танабай носил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал партийную книжицу, нагретую у груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный полированный стол Кашкатаева. Поежился даже, самому стало холодно. И, опять ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти.

— Товарищ Бакасов, — послышался сзади, из-за стола, сочувствующий голос Керимбекова, — а что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас?

Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся

на его плечи горе.

— Что мне говорить? — промолвил он грустно. — Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу, что не виновен я ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все, стало быть.

Наступило гнетущее молчание.

— Хм. Значит, на партию обижаешься? — раздраженно сказал Кашкатаев. — Ну, знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный наставляет, от суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься! Значит, ты действительно недостоин звания члена партии. И вряд ли двери назад будут тебе открыты!

Вышел Танабай из райкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А Танабаю тошно было смотреть на все и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой. Пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое. У коновязи рядом с его конем стоял Гульсары. Большой, длинный и сильный, переступил он с ноги на ногу, когда приблизился Танабай, и посмотрел на него спо-

койно и доверчиво темными глазами. Позабыл уже иноходец, как колотил его Танабай вилами по голове. На то он и конь.

— Забудь, Гульсары, не обижайся, — шепнул иноходцу Танабай. — А у меня беда большая. Очень большая беда. — И всхлипнул, обняв шею коня, но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих.

Сел на свою лошадь и поехал домой.

Чоро догнал его за Александровским подъемом. Как только заслышался позади знакомый перестук бегущего иноходца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким был когда-то прежде. Вот и сегодня — стоило Кашкатаеву повысить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Танабай отсталый человек, простой работяга, а ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит. Неужели не видит Чоро, что все это не так, как говорят сегизбаевы и кашкатаевы! Что слова их снаружи красивы, а внутри лживы и пусты. Кого обманывает, ради

чего?

Не повернул Танабай головы и тогда, когда Чоро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгоряченного иноходца.

— Я думал, Танабай, мы вместе выедем, — сказал он, переводя дыхание. — Хватился, а тебя уже нет…

— Чего тебе? — все так же не глядя на него, бросил Танабай. — Езжай своей дорогой.

— Давай поговорим. Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты, — начал Чоро и осекся на полуслове.

— Я тебе не друг и тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им…

— Ты это серьезно? — спросил Чоро упавшим голосом.

— Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону. — Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, прямиком в горы.

Он не видел, как мертвенно побледнел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, схватился за грудь, как пова-

лился на гриву иноходца, хватая ртом воздух.

— Плохо мне, — шептал Чоро, корежась от невыносимой боли в сердце. — Ой, плохо мне! — хрипел он, синея и задыхаясь. — Скорей домой, Гульсары, домой скорей.

Мчал иноходец его к аилу по темной, пустынной степи, пугал коня голос человека, слышалось в нем что-то страшное, жуткое. Прижал Гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. Поводья болтались, свисая с шеи бегущего Гульсары.

20

В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улицам аила носился верховой, поднимая лай всполошившихся собак.

— Эй, кто там дома? Выходи! — вызывал он хозяев. — На партсобрание давай, в контору.

— А что такое? Почему так срочно?

— Не знаю, — отвечал посыльный. — Чоро зовет. Сказал, чтобы быстрей шли.

Сам Чоро сидел в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался, и снова казалось ему, что несет его иноходец по темной степи, что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленные, как уголь, слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают…

Сюда привели парторга под руки из конюшни, после того как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвести его домой, но он не согла-

сился. Послал человека сзывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту.

Засветив лампу и оставив Чоро одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой.

Чоро ждал людей, а время уходило каплями. Горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссякало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел, пролетели они в трудах а заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И, однако, не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни…

А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать!

«Только бы успеть, — со страхом думал Чоро. — Только бы успеть все сказать! — Беззвучным, отчаянным криком удерживал он покидавшую

его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою. — Все расскажу. Как было дело. Как проходило бюро, как исключили Танабая из партии. Пусть знают: я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают: я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу... Только бы успеть, скорей бы уж приходили, скорей...»

Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запричитала, заплакала:

— Да ты в уме своем? Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой. Ты посмотри на себя. Боже мой, подумай хоть о себе!

Чоро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарство. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего, мне лучше уже, — проговорил он, пытаясь дышать ровней. — Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди.

И когда послышались с улицы шаги людей, Чоро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом.

— Что случилось? Что с тобой, Чоро? — спра-

шивали его.

— Ничего. Скажу сейчас, пусть подойдут все, — отвечал он.

А время убывало горькими, гулкими каплями.

Когда коммунисты собрались, парторг Чоро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым…

21

Вернулся Танабай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем. Ждала, глаза проглядела.

И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседлывал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. «Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему», — подумала она, а он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его — корма подвезли немного, соломы, муки ячменной, и теплее стало, ягнят выгоняли на пастьбу, травку щиплют уже.

— Бектаевскую отару забрали. Нового чабана прислали, — сказала она.

— А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чабаном твоим…

— Устал?

— Чего устал? Из партии выгнали!

— Да потише ты, сакманщицы услышат.

— Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали, как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну чего стоишь? Чего смотришь?

— Иди отдыхай.

— Сам знаю.

Танабай пошел в кошару. Осмотрел овец. Потом пошел в загон, там тоже побродил впотьмах и снова вернулся в кошару. Места себе не находил. От еды отказался и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу, и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг.

Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться, но где там, куда уйдешь от себя? Снова припомнил, как уходил Бектай, как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сегизбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, бежать в ночь, истошно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь в овраг и не свернет там себе шею.

Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть!..

Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут

не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только, надо покончить с собой…

…Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким, хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил, обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку?! Да разве сегизбаевы стоят того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать!

Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронташ и весь тот день усердно работал. Поласковей хотелось ему быть с женой, с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой.

Вечером погода испортилась. Дождь или снег,

но что-то будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом.

Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретила его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре.

— Выйди на минутку, — позвала его жена. — Человек к тебе. — И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе.

Вышел. Поздоровался. То был чабан из соседнего урочища.

— Это ты, Айтбай? Слезай с коня. Откуда?

— Из аила. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чоро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал.

«Опять этот Чоро!» Вспыхнула угасшая было обида. Видеть его не хотелось.

— А что я, доктор? Он всегда болеет! У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится.

— Ну, дело твое, Танаке, поедешь не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора, ночь скоро.

Айтбай тронул лошадь, но затем придержал.

— Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию.

— Спасибо, что передал. Но я не поеду.

— Поедет, — застыдилась Джайдар. — Не беспокойтесь, поедет он.

Танабай промолчал, а когда Айтбай выехал со двора, сказал жене зло:

— Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал, не поеду — значит, не поеду.

— Подумай, что ты говоришь, Танабай!

— Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я если заболею, пусть никто не приезжает. Подохну один! — Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару.

Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал:

— Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, а сам с седла не слазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела…

На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать поне-

многу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки.

Танабай не шел в юрту, избегал разговора с женой, и она не приходила. «Ну и сиди, — думал он. — А поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чоро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично...»

Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах.

— Одевайся, — сказала она.

— Напрасно стараешься. Я никуда не поеду.

— Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь будешь жалеть.

— Ничего я не буду жалеть. И ничего с ним не случится. Отлежится. Не первый раз.

— Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила. А сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе. Поезжай. Будь человеком.

— Нет. — Танабай упрямо мотнул головой. — Не поеду. Мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге. Что люди скажут? А я теперь знать ничего не хочу.

— Одумайся, Танабай. Я пойду пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.

Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил Чоро. А теперь: «Здравствуйте, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем?» Нет, не сможет он так, не в его это правилах.

Джайдар вернулась.

— Ты еще не оделся?

— Не надоедай. Сказал: не поеду…

— Встань! — гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря исстрадавшимися, возмущенными глазами. — Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся, нюни разводи! Я поеду сейчас же. Иди седлай немедленно коня!

И он, повинуясь ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводи. Горы не различишь — темно. «Вот еще наказание! Куда она теперь одна среди ночи? — думал он, набрасывая впотьмах седло. — И не отговоришь. Нет. Не откажется.

Убей, не откажется. А если собьется с пути? Ну, пусть пеняет на себя...»

Седлал Танабай коня, и самому стыдно становилось: «Зверь я, больше никто. Одурел от обиды. Выставляю ее напоказ, — смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь, и только».

Заколебался Танабай. Нелегко было отступиться от своих слов. Пошел назад набычившись, опустив глаза.

— Оседлал?

— Да.

— Ну так собирайся. — И Джайдар подала ему плащ. Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился:

— А может, с утра поеду?

— Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно.

Ночь кружилась в горах тихой заводью. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чо-

ро, обо всем том, что связывало их долгие годы, когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией, первый поздравил, пожал руку.

Смягчался душой Танабай, оттаивал, и его охватывало щемящее чувство беспокойства: «Как он там? А может, и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Посоветоваться?..»

Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми, в низине, — аил. Как там Чоро? Быстрее бы.

И вдруг в тишине утра донесся смутный, далекий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался, замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось.

Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним среди белых, заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы аила, еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась черная куча народа, у деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чоро.

Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели…

Приподнявшись на стременах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер, и сейчас же погнал коня вниз по дороге. «Не может быть! Как же так? Не может быть!» На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чоро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека?

Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходце Чоро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это?

Как в бреду, ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чоро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах:

— Ой-бай, баурымай! Ой-бай-ай, баурым![25]

«Казахи приехали», — догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чоро как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. «Спасибо вам, братья, — подумал в ту минуту Танабай. — От дедов и отцов — в беде и горестях вместе, на свадьбах и скачках вместе. Плачьте, плачьте вместе с нами!»

И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным, надсадным криком:

— Чоро-о-о! Чоро-о-о! Чоро-о-о!

Он рысил на коне, свисая с седла то на левую, то на правую сторону, и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу.

Вот уже двор, вот стоит возле дома Гульсары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался иноходец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом.

Танабай припадает к гриве коня, подымается и снова припадает. Вокруг — едва различимые, как в тумане, лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал:

---

[25] Примечания: 25

Ой-бай-ай, баурымай — траурный крик, оплакивание умершего.

— Снимите Танабая с седла. Подведите к сыну Чоро.

Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу.

— Прости меня, Чоро, прости! — плакал Танабай.

Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись, плача.

— Нет твоего отца, нет моего Чоро! Прости меня, Чоро, прости! — захлебываясь, рыдал Танабай.

Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин ее, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее.

Плакал за все, за все утраты, за Чоро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге, плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая, за ту любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже, плакал за иноходца своего Гульсары, стоящего в траурной попоне, за обиды свои и муки, за все то, что было не выплакано.

— Прости меня, Чоро, прости! — повторял он. И

тем самым как бы просил прощения у нее.

Ему хотелось, чтобы Бюбюжан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала.

Утешали его другие:

— Довольно, Танабай. Слезами не поможешь, успокойся.

И от этого ему было еще горше и больнее.

22

Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хлопья снега. По белому полю черной молчаливой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего Чоро, туго и глухо запеленатого в белую погребальную кошму. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком — сын Самансур и Танабай, ведший на поводу коня покойного друга, иноходца Гульсары, с пустым седлом.

Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чоро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чоро уже безвозвратно.

Вел Танабай иноходца на поводу и говорил ему про себя: «Вот, Гульсары, лишились мы с тобой

нашего Чоро. Нет его, не стало… Что же ты тогда не крикнул мне, не остановил меня? Не дал Бог тебе языка. А я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался. Убил я Чоро, убил его словом своим…»

Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чоро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чоро, укладывая его тело на вечное ложе земное:

— Прости меня, Чоро. Прощай. Слышишь, Чоро, прости меня!..

Падала в могилу брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме.

— Прости, Чоро!..

После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону:

— Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо.

И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли на зады в сад. Пошли вдоль бровки арыка, остановились за огородом, у сваленного дерева. Сели на него. Помолчали, каждый думал о своем. «Вот она, жизнь-то, — размышлял Танабай, — мальчишкой

знал Самансура, а теперь вон какой стал. Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чоро. Теперь мы с ним как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают, дело продолжают. Дай-то Бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рождаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть».

— Ты, Самансур, старший в семье, — сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду. — Ты теперь вместо Чоро, и я готов выслушать тебя, как самого Чоро.

— Должен я вам передать, Танаке, наказ отца, — проговорил Самансур.

Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чоро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его?

— Слушаю тебя, сын мой.

— Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был

в сознании до самого последнего вздоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал: «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать. И не успел.

— Да, Самансур, да. Нам надо было увидеться. Очень надо было. Век не прощу себе. Это я виноват. Это я не успел.

— Так вот, просил он меня передать. Сын, говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе и чтобы он сам отвез мой партбилет в райком. Пусть, говорит, Танабай собственноручно сдаст мой билет — не забудь, передай. Потом забылся. Мучился. И, умирая, смотрел так, точно ждал кого-то. И плакал, слов уже было не разобрать.

Танабай ничего не отвечал. Всхлипывая, теребил бороду. Ушел Чоро. Унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес.

— Спасибо, Самансур, за слова твои. И отцу твоему спасибо, — промолвил наконец Танабай, беря себя в руки. — Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии?

— Знаю.

— Как же я, исключенный, повезу партбилет Чоро в райком? Не имею я на то права.

— Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас.

— Я бы от души рад. Но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь, Самансур?

— Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что такой был наказ отца моего, Чоро Саякова.

Еще затемно, ранним утром, выехал Танабай из аила. Гульсары, славный иноходец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь, — Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чоро Саякова.

Впереди, над невидимыми краями земли, медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы…

Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он рокочущую дробь ходкой иноходи. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары

по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был еще конь.

Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чоро наказал перед смертью отвезти в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать думал? А может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные: «Никогда больше!» Дальше и слов уже нет…

И опять нахлынули разные мысли, снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним, при нем еще последняя воля Чоро. Он придет с его партбилетом и поведает о нем, о Чоро, все как есть, расскажет, каким был Чоро для людей, каким был для него. И о себе расскажет, потому что Чоро и он — пальцы одной руки.

Пусть узнают, какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И, может быть, поймут, что не заслуживает он, Танабай, чтобы отлучали его от Чоро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали

высказаться!

Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чоро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извинится, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя.

А что, если скажут: какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? «Не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело. И без тебя нашлись бы другие». Но ведь такова была предсмертная воля самого Чоро! Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. «Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, забытьи?» Что тогда он ответит?

А Гульсары бежал по звонкой, смерзшейся дороге и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабая иноходец. Не заметил даже, как приехал.

Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения

сердцем. Что ему скажут? Как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из аилов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева.

— Здравствуйте, — сказал он секретарше.

— Здравствуйте.

— Товарищ Кашкатаев у себя?

— Да.

— Я к нему. Я чабан из колхоза «Белые камни». Моя фамилия Бакасов, — начал он.

— Как же, знаю вас, — усмехнулась она.

— Так вот, скажите ему, что парторг наш Чоро Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал.

— Хорошо. Обождите минутку.

Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее.

— Товарищ Кашкатаев занят, — сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. — Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору.

«Сектор учета… направо по коридору». Что это? — не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал…

— У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите

скажите ему. Важный разговор у меня.

Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала:

— Занят он очень. — И потом добавила от себя сочувственно: — Разговор-то ведь с вами окончен. — И еще тише сказала: — Не примет он вас. Лучше уезжайте.

Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Надпись: «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось.

— Что вам?

— Билет привез вам сдать. Умер парторг наш — Чоро Саяков. Колхоз «Белые камни».

Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привез партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко: «Прощай, Чоро!»

Смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чоро, год вступления в партию — последняя память о нем. Потом дала ему расписаться.

— Все? — спросил Танабай.

— Все.

— До свидания.

— До свидания. — Окошечко захлопнулось.

Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать поводья иноходца.

— Все, Гульсары, — сказал он коню. — Это все.

И неутомимый иноходец понес его назад, в аил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под рокочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая.

В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горы.

Жена встретила его молча. Взяла коня под уздцы.

Помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку.

Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его, плача.

— Похоронили мы Чоро! Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга! — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.

Потом он молча сидел на камне подле юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу, гудящая струна темир-комуза. Будто

ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, а все вокруг молчало, затаив дыхание, все безмолвствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Будто бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим, как утешиться среди безмолвия этого и безлюдия, и никто не откликался. Он и плакал, и слушал себя один. Танабай понял, что это жена играет для него «Песню старого охотника»...

...В далекие времена был у старика сын — молодой, смелый охотник. Отец сам обучал сына нелегкому делу охотничьему. И тот превзошел его.

Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детенышей не жалел. Истребил он стадо Серой Козы, первоматери козьего рода. Осталась Серая Коза со старым Серым Козлом, и взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого Козла, не убивал его, чтобы им род свой продолжить. Но тот не послушался, уложил метким выстрелом громадного Серого Козла. Рухнул Козел со скалы. И тогда запричитала Серая Коза, повернулась боком к

охотнику и сказала: «Стреляй мне в сердце. Я с места не стронусь. Но ты не попадешь — это будет твоим последним выстрелом!» Засмеялся молодой охотник над словами выжившей из ума старой Серой Козы. Прицелился. Грянул выстрел. А Серая Коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник — такого еще никогда не случалось. «Ну вот, — обернулась к нему Серая Коза. — А теперь попробуй поймай меня хромую!» Засмеялся в ответ молодой охотник «Что ж, попробуй уйди. А догоню — пощады не жди. Прирежу тебя, старая, как паршивую хвастунью!»

Стала убегать хромая Серая Коза, охотник — за ней. Много дней и много ночей по скалам, по кручам, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась Серая Коза. Давно уже бросил охотник свое ружье, одежда на нем висела клочьями. И не заметил он, как завела его Серая Коза на неприступные скалы, откуда не было путей ни вверх, ни вниз, откуда ни слезть, ни спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его Серая Коза и прокляла его: «Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть

воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я, старая Серая Коза, первоматерь козьего рода. Проклинаю тебя, Карагул, проклинаю…» С плачем убежала Серая Коза — с камня на камень, с горы на гору.

Остался молодой охотник на головокружительной крутизне. Стоит на узком уступе, прижавшись лицом к стене, боится оглянуться — ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево не ступить ему. Ни неба не видно, ни земли не видно.

А отец тем временем искал его повсюду. Облазил все горы. И когда нашел на тропе брошенное им ружье, понял, что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по темным теснинам. «Карагул, где ты? Карагул, отзовись!» А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечали его же словами: «Где ты, Карагул? Отзовись!..»

«Здесь я, отец!» — вдруг донесся до него голос откуда-то с высоты. Глянул старик вверх и увидел сына своего, как вороненка на краю обрыва, на высокой, неприступной скале. Стоит там спиной к миру, обернуться не может.

— Как же ты там очутился, несчастный сын мой? — перепугался отец.

— Не спрашивай, отец, — отвечает тот. — Я

здесь в наказание свое. Завела меня сюда старая Серая Коза и прокляла страшным проклятием. Я стою уж много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли. И лица твоего не увижу, отец. Сжалься надо мной, отец. Убей меня, облегчи мои страдания, прошу тебя. Убей и похорони меня.

Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын все молит: «Убей меня поскорей. Стреляй, отец! Сжалься надо мной, стреляй!» До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камни и запел прощальную песню над телом сына.

Убил я тебя, сын мой Карагул.

Один остался я на свете, сын мой Карагул,

Судьба покарала меня, сын мой Карагул.

Судьба наказала меня, сын мой Карагул.

Зачем обучил я, сын мой Карагул,

Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул,

Зачем истребил ты, сын мой Карагул,

Всю дичь и тварь живую, сын мой Ка-

рагул,

Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул,

То, что явилось жить и умножаться, сын

мой Карагул?

Один остался я на свете, сын мой Карагул,

Никто не откликнется, сын мой Карагул,

Плачем на мой плач, сын мой Карагул.

Убил я тебя, сын мой Карагул.

Своими руками убил, сын мой Карагул…

…Сидел Танабай подле юрты, слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении.

А Джайдар в юрте все наигрывала на темир-комузе плач по великому охотнику Карагулу:

Убил я тебя, сын мой Карагул,

Один остался я на свете, сын мой Карагул...

23

Близился рассвет. Сидя у костра, в изголовье умиравшего иноходца, припоминал старик Танабай то, что было потом.

Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы и помог бы. И Чоро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. О том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком.

— А вы не слыхали разве?

— Нет.

— Ну, если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю, может, он вас примет, — предложила женщина в приемной.

— Нет, спасибо, — отказался Танабай. — Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания. — Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал секретаря и что тот тоже лично знал его, чабана Танабая

Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга, в этом он не сомневался, потому и сказал так.

Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове. А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменился в лице. Это был Бектай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танабая своими узкими рысьими глазами, ждал, что тот скажет.

— Ну ты что там, уснул, что ли? — раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял в машине.

Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригибался под тяжестью и смотрел не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где. Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился, — подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше. — Пропадает ведь парень, а? — подумал он затем, замедляя шаги. — Хорошим человеком мог бы стать, может, поговорить?» И захотел вернуться, жалко стало ему Бектая, готов был простить ему все, только бы тот одумался.

Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговор не получится. Не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел.

Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него.

Позже, когда Бектая судили, Танабай сказал на суде только, что Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был не прав, и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться.

— Отсидишь — приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше, — сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал неуверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми. Оробел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, и все равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.

24

Иноходец Гульсары неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Клокотало, хрипело в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая глядели на пламя, деревенели вытянутые, как палки, ноги.

Прощался Танабай с иноходцем, говорил ему последние слова: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульсары. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе, потому что ты умираешь, славный конь мой Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, там нет травы, там жизни нет. Но покуда я буду жив, не умрешь, потому что я буду помнить о тебе, Гульсары. Перестук твоих копыт будет для меня как любимая песня...»

Думал так старик Танабай и грустил, что время промчалось, как бег иноходца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и рано еще Танабаю считать себя стариком. Но ведь человек стареет

не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век…

И сейчас, в эту ночь, когда умирал его иноходец, Танабай, заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему.

Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Сарыгоуском ущелье, жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком.

Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке навыпуск, в белых широченных стариковских штанах, ступал Танабай за звенящей косой, ровной, плотной гривой клал траву в валок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легковой «газик»,

как вышли из машины двое и направились к нему.

— Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь! — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощекий, с брюшком. — Вот мы и нашли вас, Танаке, — заулыбался Ибраим во всю ширь лица. — Сам секретарь райкома приехал, увидеть вас пожелал.

«Ох и лиса! — с невольным восхищением подумал о нем Танабай. — Во все времена находит себе место. Смотри, как юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит!»

— Здравствуйте. — Танабай пожал им руки.

— Не узнаете, отец? — спросил приехавший с Ибраимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руки.

Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то», — подумал Танабай.

— Так это же товарищ... — хотел было подска-

зать Ибраим.

— Постой, постой, я сам скажу, — остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.

Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.

— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керимбеков Ибраиму.

Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:

— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.

Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели у реки.

— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам, — начал разговор Керимбеков. — Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит, здоровье в порядке. Этому я рад.

— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.

— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас вы сами знаете, многое изменилось. Многое

уже пошло на лад.

— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то Бог и дальше так.

— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Танабай секретаря райкома. — Спасибо, что не забыл старика. — И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже

не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.

Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.

Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.

Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с едкой печалью подумал Танабай.

Он представлял себе, как задыхался конь в

пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было изрядное, — Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.

Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!»

А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбегали мы свое, Гульсары, — говорил он. — Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее…»

А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молью хомуте, таскать ветхую повозку.

Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.

Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи, в трусиках, в драной майке. Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.

— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику Танабаю. — Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.

— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.

Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но, когда конь стал выбираться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.

— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.

Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня, — знать, совсем уже плох», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.

— Езжай и больше не падай.

Гульсары потихоньку побрел по дороге.

И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге.

Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, помыкала мужем, как ей хотелось. Бывают же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.

Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:

— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто

лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.

Ну и прочее в этом духе…

Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:

— Если уж такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.

— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старого такого? — фыркнула она в ответ.

Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа сделает средним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.

Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было

ему оставаться у них.

«Дура ты, дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра. — Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще, нужным буду...»

25

Открылось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели побуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь уже не было нужды укрывать иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны Господни… Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, несгибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.

Шел он через степь в горы. Шел, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним

те, с которыми вырос в одном гнездовье, держал один путь.

«Напишу Самансуру, — решил Танабай. — Так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращался я прошлой ночью из Александровки, и в дороге пал мой иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чоро неспроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын, и ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова...»

Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю.

— Лети, лети! — прошептал Танабай. — Догоняй своих, пока крылья не устали. — Потом вздохнул и сказал: — Прощай, Гульсары!

Он шел, и слышалась ему старинная песня.

…Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко…

Джамиля

Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полынная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на доро-

ге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них… Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам — из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совер-

шал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье, — наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков: ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом

считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы, — словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба словно в награду послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери — неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она меня «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах:

невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо, это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке, — так почтительно у нас называют мастеровых людей, — он только и знает,

что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери:

— Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, малый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще дочка подросла... Уж неделю разо-

гнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждет! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянье Орозмат, покачнувшись в седле. — Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где взять мужчинто?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет… Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался — видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, — с радостью указал он на меня, — никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они и выручают…

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты

мой! — запричитала она. — А голова-то, зарос весь... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени...

— Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет, — ловко подхватил Орозмат в тон матери. — Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, байбиче, Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы ж его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь, — вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув

сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты! — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: — Я вот тебе покажу волков. Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! — вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать: как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе… Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище…

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить туда хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.

Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может, оттого, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны, — она у него была одна, и за дочь и за сына, — но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но, если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя, как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая! — отвечала на это мать. — Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца: снаружи чисто и гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного — чтобы она была верна богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, они находили утешение в Джамиле,

единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной

хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.

— Благодари Аллаха, дочь моя, — поучала мать Джамилю, — ты пришла в крепкий благословенный дом. Это — твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики, — в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили

никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся не девичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее!»

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху.

— Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене! Вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы наворачивались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — приосанившись, говорила она джигитам. — Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! — И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она

моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем — любая побежит.

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. — Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы.

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а тоже — нос воротишь.

Джамиля резко обернулась.

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду

солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот я и говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся. — Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.

Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала: поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на мажаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?

До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней мажару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась

к другой копне. Мажара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра[26] пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?.. — Джамиля умолкла, провожая

[26] Примечания: 26

Тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки.

взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала: — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает… Может, и нет таких мужчин на свете…

Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло, может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Османа!»

— Но-о, пошли! — заспешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, аильский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав

читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «Послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе: премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в аиле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз пере-

читывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом. — Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи… Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо…

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо пробегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала

то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это? — говорила она, запирая сундук. — Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим… Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи!

Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, Бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их, оказалось,

что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову.

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится? Джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть…

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок,

дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливей нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до едина, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим

земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом — на Ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»

«Тулпар за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны и духи твоих предков. Вот, Бог даст, добьем германа,

заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными

глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку[27] и просиживал там дотемна.

---

[27] Примечания: 27

Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал, — а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С

вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю

по сторонам — никого не видать. Пологими холмами уходят вдаль берега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках, — такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:

— Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно…

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не про-

сохшую наденет: она у него была одна.

Но странное дело — казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас, — подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на «ты», — и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли, — попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял

голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь? — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил: — Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако тот вечер быстро забылся, так же как быстро пропал в аиле интерес к самому Данияру. Его нелюдимость и замкнутость вызвали у людей равнодушие или просто чувство жалости.

— Бездомный, несчастный малый, — говорили о нем. — Хорошо еще, кормится в колхозе, а то в пору с сумой пойти... Тихий он, безобидный, точно овца!

Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было

быть: если человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? — И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара! — Джамиля весело вскинула голову. И, не мешкая, начала командовать нами: — Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягала, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него:

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!

Джамиля сама схватила руку Данияра, и, когда они вместе, на сомкнутых руках, подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиле хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье к станции. Одно было хорошо: как выедешь — и до самого места дорога все время идет под гору, лошади не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих гор, и тянется до самых Черных гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!» Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за

низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, дышит угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирают дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. — Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и разражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под

стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие же дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался Данияр. Он шел

по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и крутя над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил

Джамиле:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

— А ну его! — смеялась Джамиля и махала рукой. — Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные, упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и, право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж

Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись: Джамиля кидала яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли

об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамиля.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили — идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его.

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тащит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно

она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то

сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок! — крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик.

— Бросай! — закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то.

И, кажется, все — и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, — поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь меж-

ду людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это мое дело, — негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

— На свою дерюгу! — Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. — И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

— Да ты что? Что с тобой?

— А ничего!

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамиля тоже старалась делать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку

рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой — далеко внизу, в зарослях тальника и диких тополькoв, бурунилась неугомонная Куркурею. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал: ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенные аильные песенки, вроде: «Шел-

ковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамиля, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. — Я слушаю тебя, оба уха навострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор. Скорее всего, ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр

подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,

Земля моих дедов, моих отцов!

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,

Колыбель моя…

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамиля даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой

ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить: только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать!»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной

гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, — его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно настороженные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице

шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом, в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь.

Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь…

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на обратном

пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал его голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер старика-ми-веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, — во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли

чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная…

Но в то памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

— Садись, киргизы, в седла: враг пришел! — и мчался дальше в вихрях и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы…

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи, обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Я срисовывал кар-

тинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил, точно во сне, и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав в реке гимнастерку, она

разложила ее сушить, а сама села подле и долго старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставили вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но странное дело: джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно шагали по берегу, вылавливая в реке свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в воду. Она вышла оттуда с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики-веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он

сорвется сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее, не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозила и радость и боль. Да, и счастье и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадила она разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше — идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз — неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день?

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задер-

живались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата.

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски

приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром — в его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали от сочувствия и сострадания к нему.

Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив

на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос — и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями

Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут — им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:

— Ну что ты смотришь? — и, помолчав, суро-

во добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке. — А ты чего уставился? — накинулась она на меня. — Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

«Что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило; нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался, ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка!

Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь, темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте, куда

угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат.

— Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала — не хочу, и все тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю. — Если обидел кто, скажи — костыль на его шее обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья.

Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, Аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок. — Гм! — Джамиля сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала… Я спрячу на память… — И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху…

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее — кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновато. И я улыбался: значит,

она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня…

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что — или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамиля.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с

тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..»

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

— Кто тут из аила Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

— Керим, это ты? — воскликнула Джамиля.

— Ой, Джамиля, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! — возбужденно говорил он. — Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, Бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу… Вот оно, получай, в целости и сохранности. — И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он

одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли! — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене, — сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело

откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни.

«К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие, сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов, таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.

— Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке — я знал излюбленное место Данияра над обрывом.

Он сидел, ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее

в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле. А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля…

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла, — тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

— Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват…

Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало: надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля. — Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соло-

ме косые студеные капли дождя.

— Джамилям, любимая, родная Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Я ведь тоже давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты, моя Джамиля! Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь и свет молний достигали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень, после двухлетнего перерыва, я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручу и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей»! Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные

валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но тополькы еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбредались матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископыченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамиля

повязалась белым полушалком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганый жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамиля-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамиля-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась

мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамиля! Джамиля! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилей и Данияром — я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из аила эту приблудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет.

— Вот то-то и оно. А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую джене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку,

гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула. — Пропадет Джамиля… Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла… Отреклась… А зачем ушла? Или худо ей было у нас?..

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной…

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышнего парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон. — Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы — и все тут. А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я б ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей. Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.

В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться… Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай… Оперились вы и по-своему крыльями машете… Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай… А

может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать… Поучись — узнаешь… Да не забывай дом свой…

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая светлая даль.

И пусть несовершенна моя картина — мастерство не сразу приходит, — но она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое беспокойство.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор:

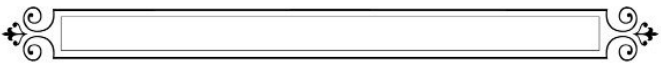
«Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых

людей трудится там. Может, и вы подались в те края. Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!»

Я смотрю на них — и слышу голос Данияра. Он зовет меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!

Первый учитель



Яоткрываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, — просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить

и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую: мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю…

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С

какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, — то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, — но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугорок к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные: у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый

огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка…

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, как бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались

вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватало глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя — воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен?

Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была — название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда, кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось…»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[28] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень, и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из

---

[28] Примечания: 28
Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил — ехать, не мог же я в такой радостный для нашего аила день усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая

землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить, — невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. — Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Зна-

комым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности, очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты.

Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задержи-

вать. Потом со стариками посидит, — недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя — на Украине это было — и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет…

— А все-таки зайти бы ему сейчас… Ну да ладно. — И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. — Один из почтеннейших людей аила поднял бокал. — А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. — Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так, — отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал,

продолжал:

— Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы

вы на эти тополя весной, в пору цвета, — сказал я ей.

— И я об этом же думаю, — вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, — просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно

получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо… Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте…»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год…

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного

отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», — но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание

верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок, — начал он заикающейся скороговоркой, — раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец, — быстро отозвался Дюйшен. — А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело…

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу — с вашей помощью, конечно, — вон в той старой конюшне,

что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень, — проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки, — уже тихо проговорил Дюйшен. — Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей…

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что… Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе…

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять… Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. — Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава Богу, своих забот полон рот…

С этими словами Сатымкул повернул коня и

поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься…

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! — И я кинулась догонять ребят. — Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга! Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, а все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он уди-

вился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам.

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелем побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить, — сказала я.

— Ну почему же не отпустит, — отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай, — ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя, — он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело. — Ты чья будешь?

Я промолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет, — подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай, — снова улыбнулся мне Дюйшен, — ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой, — застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам. — Давайте высыпем кизяки в школе — все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились

домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива.

Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как

полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась

колотить по голове. — Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу…

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет, — к ним мне было не привыкать, — я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу…

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как

молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам Бог! А Бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя — тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка. — Ей не до учебы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов! У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка. — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба! — гаркнул он, выбираясь из ямы. — С каких это пор ты стала головой в доме, с каких

это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, — объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешко-

ватом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге, — он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, — говорил Дюйшен. — Буду учить вас всему, что знаю сам…

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине вели-

кое дело! Шутка ли — учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир…

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулиэ-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ

заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул: ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знания.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, — все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром.

А потом ходить стало невмоготу: ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа:

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки

следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся, — приговаривал Дюйшен. — Я и сам справлюсь…

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную

и озябшую, и улыбнулся:

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — и, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да, — ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый, — сказал он, ласково гладя меня. — И способности у тебя хорошие… Эх, если бы я мог послать тебя в большой город! Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным

братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, за мной все остальные. И в этот раз у подножья бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте, — приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, — в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня…

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз… Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю…

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!»

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло: — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или Бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой…

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет, — отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. — Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал

давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели.

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий. — Картанбай всполошился, ища в темноте шубу. — Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал

нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картан-бай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома. — Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. — Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до аила и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну, — суетился Картанбай. — А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Дюйшен. — Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. — Ты послу-

шай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение…

— Да не о том речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай. — Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть — наживу еще…

— Дело говоришь, старик, — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. — Наживем еще… На-ка, сынок, хлебай, пока горячее.

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет…

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот

так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил…

— Да, к слову… — перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем…

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все

походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет, — сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо. — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну,

глянь на меня…

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы. — А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей…

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в

горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом

прибавили, а ты… Нашла себе забаву — в школу ходить… Но погоди, я тебя приберу к рукам…

По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка, — смеялся Дюйшен. — Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколечко не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались

поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел, как пень, краснолицый, грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька, — сказала она, — там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня

обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой», — решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы всей гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай. — Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо. — Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тетка.

— Я сам за тебя отвечу, — сказал Дюйшен. — А

жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он. — Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе. — Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. — Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез? Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, — говорит, — пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся, «Ты, — говорит, — подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы

не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной, что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело, — сообщил он, загадочно улыбаясь. — Вот эти тополюки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти тополюки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная…

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизостволые тополюки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал

ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись тополь-ки, закачались…

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад. — А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди…

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким… Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась

произнести эти слова. А может быть, надо было…

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход, — сказал он, когда мы возвращались в аил. — Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет, — ответила я.

Хотя я не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь, — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить,

стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом, — быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшен подошел к дверям.

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй, ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите, сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми

кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я же говорила! — взвизгнула тетка. — Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я

выпроводила тебя! И учителю твоему конец…

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных петухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно

коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону… О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее, — приказал красноорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна…

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я

стала женщиной… Я была моложе детей этого насильника…

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания, так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопение, беспробудный храп, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой! Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойби-

ще, а затем на все лето в глубину гор за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе: бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем... Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, а ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и — оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже

вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная…

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами. — Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий,

нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом. — За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал твои глаза. Не приведи господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в

голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого…

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо

всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету…

Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры…

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка, — сказал он, — светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-чего понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед…

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера

было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя, — сказал он. — Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет… Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься… Пусть будет так, пусть будет так…

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь, — дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку. — Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись…

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай. — Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те тополь ки, что

мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. — Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная… Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно… До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых

глубин души…

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни…

Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь…

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом, потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав… А может быть, были какие-нибудь иные

причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору…

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты, — но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я. — Спасибо тебе,

Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал… Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизо-

стволыми деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляют в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна…

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножья деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся, светлая вода в полном арыке чуть рябила, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб, — предполагали они, — время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель, — думала я временами. — Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости

его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход; проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и, так же ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади

раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски. — Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа иль брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому, — пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну… — ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем, — сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах… А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками, — это плохо,

непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы… И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь…

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала

вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самой себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду…

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски

начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного… Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри,

изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко, и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях…

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз! Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.